

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

Т.Б. УВАРОВА

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
В ЭТНОЛОГО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ
ЗНАНИИ НАЧАЛА XXI В.**

Аналитический обзор

**МОСКВА
2017**

ББК 28.71;63.5

У 18

Серия

«Теория и методология исторической науки»

**Центр гуманитарных
научно-информационных исследований**

Отдел истории

Отв. за выпуск
А.Е. Медовичев

У 18

Уварова Т.Б.

Концептуальные и методологические инновации в этнолого-антропологическом знании начала XXI в.: Аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. истории; Отв. ред. Большакова О.В. – М., 2017. – 96 с. – (Сер.: Теория и методология исторической науки).
ISBN 978-5-248-00856-8

Анализируются работы отечественных и зарубежных авторов, оказавшие влияние на обновление концептуального и методологического инструментария российской этнологии и антропологии на рубеже XX–XXI вв. Рассматриваются новые теоретические подходы, а также проблемы научно-информационного обеспечения этнолого-антропологических исследований и образования.

Для специалистов в области этнологии, антропологии, культурологии, аспирантов и студентов, обучающихся по этим специальностям.

ББК 28.71;63.5

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Полидисциплинарная антропология в контексте «новых поворотов» социогуманитарного знания	4
Лингвистический поворот	8
Новая культура историописания	16
Переосмысление теории и стиля в антропологии.....	22
Антропологический поворот в российской этнологии: От генетики до идентичности	40
Цифровой поворот. Образы реальной виртуальности	53
Количественные показатели библиометрии.....	57
Онтологический поворот. Акторно-сетевая теория или новая материальность	62
Вместо заключения: Антропология в глобализированном мире. На пути к новой антропологии	82
Список литературы	93

ВВЕДЕНИЕ.
ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
В КОНТЕКСТЕ «НОВЫХ ПОВОРОТОВ»
СОЦИОГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

Современное социогуманитарное знание становится все более сложным по своей дисциплинарной структуре, институциональной организации на международном и национальном уровнях, характеру научных коммуникаций в условиях распространения новых информационных технологий. Наряду с зачастую более очевидными изменениями организационного и технологического развития происходит непрерывное обновление собственно познавательных средств науки. Новые научные предположения (гипотезы), модели социокультурных реалий и процессов (концепции и теории), способы познания (методы) и оценки эпистемологических возможностей этих методов (методологии) как фундаментальные составляющие научного знания включаются в уже сложившиеся научные традиции с разными последствиями. Инновации такого рода могут проявляться как «научные революции» с полной сменой исследовательской парадигмы (по Т. Куну) или как постепенное изменение траектории движения того или иного исследовательского направления – его «новый поворот». Понятие поворота – «лингвистического», «антропологического», «цифрового», «онтологического» – стало более предпочтительным для оценок результатов развития социогуманитарного знания на рубеже XX–XXI вв. в научной рефлексии, судя по тому, как широко и разнопланово оно используется в современной литературе.

Вместе с тем ни один из так называемых поворотов не стал пока общепринятым научным термином с однозначным содержанием и четко установленным местом в дисциплинарном или междисциплинарном тезаурусе. Более того, эти понятия многозначны

у разных авторов и зависят от дисциплинарного профиля исследования социокультурных реалий и проблем.

Фиксировать изменения антропологии и этнологии в новом научном контексте особенно сложно, поскольку этнологическое знание было полидисциплинарным от истоков своего становления, причем включало как естественно-научные дисциплины, так и гуманитарные. Во второй половине XIX в., времени признания официального академического статуса дисциплины, в российской научной традиции к этой области относили физическую антропологию, этнографию и археологию (так называемая анучинская триада), а в американской национальной школе – физическую антропологию, этнологию, археологию и лингвистику (так называемая тетрада Боаса). Столетие спустя структура дисциплин в обеих странах стала гораздо более сложной за счет выделения множества субдисциплин.

Характеризуя дисциплинарную структуру российской антропологии начала XXI в. и развитие новых направлений, один из ведущих сотрудников Института этнологии и антропологии РАН С.В. Соколовский среди традиционных для российской школы направлений антропологических исследований выделяет этнографическую фольклористику, этнографическое регионоведение, физическую или биоантропологию, исследования этнической истории и этногенеза (включая так называемую этноархеологию) и историю науки (этнографии, этнологии, антропологии). Все эти направления и юридическую антропологию (направление исследований, которое уходит корнями в дореволюционные исследования в области антропологии права, но почти не развивавшееся в 1930–1970-х годах) автор относит к первой волне дифференциации и специализации антропологического знания.

В 1970–1980-е годы к ним присоединились этнодемография, этносоциология, этногеография, этнопсихология, этнография детства, городская антропология, что и составило содержание второго этапа дифференциации российской этнологии.

Сегодня такие субдисциплины, как этнодемография, этногеография и этноэкология, более тесно связаны с такими специализациями у географов, как география населения, география культуры и физическая география, нежели с собственно с социально-культурной антропологией. Однако вовлеченность российских антропологов в серию прикладных проектов (разработка инструментария переписей населения, подготовка атласов и карт расселения этнических и конфессиональных сообществ, этнологическая экс-

пертиза проектов промышленного развития и положения коренного населения) заставляет их активно пользоваться демографическими и географическими подходами и концепциями, отмечает исследователь.

На третьем этапе, в конце 1980-х – начале 1990-х годов, свое институциональное воплощение в виде исследовательских специализаций и центров получили этнополитология, этноконфликтология, этногендерные исследования, медицинская, экономическая и визуальная антропология. Политическая антропология и этнополитология охватывают исследования национальной политики, национализма, государственной политики (главным образом, различных форм этнофедерализма и мультикультурализма), языковой и культурной политики, политики идентичности.

Это, по оценке С.В. Соколовского, наиболее обширная, хотя и слабо координированная междисциплинарная область исследований, в которой работают, помимо этнологов / антропологов, также философы, политологи, социологи, историки, конфликтологи, социальные психологи, географы, демографы и представители еще десятка дисциплин и специализаций, которые используют концептуальный аппарат и методы всех перечисленных областей социогуманитарного знания (6, с. 38).

Области исследований, принадлежащие к так называемой четвертой волне дифференциации российского антропологического знания (с конца 1990-х годов), «антропологии» самых разных областей современного общества – от государственного управления и администрирования до моды и досуга – пока скорее декларативны, чем реальны. Наличие таких интересов у молодого поколения российских антропологов объясняется скорее «влиянием западной антропологии, где эти дисциплины признаны благодаря распространившейся среди социологов, экономистов, культурологов и философов моде на “антропологический поворот” и этнографию как метод качественного (в смысле квалитативного) исследования» (6, с. 42).

Процесс роста числа субдисциплин в американской культурной антропологии прослежен известным историографом англоязычной антропологической школы Дж. Стокингом, профессором Отделения антропологии Чикагского университета, одним из наиболее авторитетных в мировой науке специалистов по истории антропологии. Он инициатор и редактор издававшейся на протяжении многих лет Университетом Висконсин серии «История антропологии».

Исследователь обращает внимание на то, что границы антропологии всегда были проблематичны в большей степени, чем в других дисциплинах и дискурсах обществознания. Однако никогда, по мнению Дж. Стокинга, ситуация не была так остра, как на рубеже XX–XXI вв. Проблема динамики дисциплинарных границ постоянно обсуждалась в публикациях печатного органа Американской антропологической ассоциации (American Anthropological Association (AAA) «Anthropological Newsletters» в связи с реорганизациями этой организации, насчитывающей около 16 тыс. членов (в Российской ассоциации антропологов и этнологов около 1000 человек. – Т. У.).

В 1983 г. структура AAA была изменена для более эффективного представительства «смежных антропологий», возникших в предыдущие четверть века. Но уже к 1995 г. число официальных подразделений Ассоциации удвоилось и их стало более тридцати, помимо общепризнанных, но не получивших пока формального статуса «групп интересов» (24, с. 305).

Исполнительный директор AAA, неоднократно комментируя эту ситуацию на страницах «Anthropological Newsletters», постоянно выражал свое удивление по поводу того, что при столь высокой фрагментированности антропологию все еще называют единой дисциплиной, которая к тому же должна отвечать на основные вызовы времени. Это и образование в академической среде и за ее пределами, и привлечение в дисциплину «новых голосов», и использование антропологического знания в публичном политическом процессе, короче, – «полное соответствие сегодняшнему духу времени, конкурентному и переменчивому».

Очевидно, что столь обширное и фрагментированное исследовательское поле не могло быть обеспечено единой методологией, если это не простая декларация идеологической позиции ученого, в чем зачастую обвиняли «советский марксизм» в отличие от вполне приемлемого в качестве научного инструментария марксизма западных исследователей, развивавшегося, хотя и не без кризисов, в зарубежной историографии¹.

¹ Koditschek Th. How to change history // History and theory. – Malden, 2013. – Vol. 52, N 3. – P. 433–450.

В статье профессора Принстонского университета (США) профессора Теодора Кодичека, написанной в связи с выходом книги Эрика Хобсбаума (1917–2012) (Hobsbaum E. How to change the world: Reflections on Marx and Marxism. – New Haven: Yale univ. press, 2011. – VIII, 470 p.) «Как изменить мир: Размышле-

Учитывая немногочисленность и разнородность работ, отражающих научную рефлексию не только методологического, но и более широкого историко-научного и историографического характера, обзор построен как собрание нескольких самостоятельных разделов-дайджестов по тематике основных «поворотов», объединение которых позволяет более наглядно отразить разные ракурсы концептуального и методологического обновления современного этнолого-антропологического знания.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ

Лингвистический поворот уже в начале 2010-х годов стал предметом специализированного учебного курса, который был подготовлен на факультете истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Показывая возможность применения междисциплинарных инструментов анализа языка и текста к историческому материалу, его автор Н.Д. Потапова демонстрирует методологические возможности одного из наиболее влиятельных направлений в современной историографии. Особое внимание уделено идеологии и проблеме так называемого ответственного письма, ставших предметом широкого обсуждения.

В авторском учебном пособии специальный раздел «Интеллектуальные практики модернизма: Аналитическая философия истории и приемы логического анализа языка» посвящен процессу «создания бренда “лингвистический поворот” (linguistic turn)», который приходится на послевоенное время, 1950–1960-е годы, и связан с именем Густава Бергмана. В 1920-е годы он начинал свое образование в Австрии как студент-математик, а в 1938 г. бежал от нацизма в США и обосновался в университете штата Айова. Сам исследователь определял лингвистический поворот как интеллектуальное движение, начавшееся с публикации «Логико-

ния о Марксе и марксизме», рассматривается творческий путь великого британского историка и оценивается его интеллектуальное наследие. Автор выделяет три периода в профессиональной карьере Э. Хобсбаума: ученичество и становление как историка рабочего класса в 1940–1950-е годы; апогей его творчества в 1960–1970-е; и, наконец, кризисный для марксизма период 1980–1990-х годов, когда, как это ни парадоксально, Э. Хобсбаумом и были выдвинуты идеи, оказавшие наибольшее влияние на мировую историографию (с. 434). Большакова О.В. [реф.] // РЖ «История» / РАН. ИНИОН. – 2016. – № 3. – С. 14–24.

философского трактата» Людвига Витгенштейна в 1922 г., посвященного не лингвистике как таковой, а логическому анализу языка – его избыточности, неполноты, неопределенности.

С 1925 г. в Чикаго началась университетская карьера американского лингвиста Эдварда Сепира, работы которого оказали влияние на чикагскую школу антропологии и социологии. Сепир специализировался на индейских языках, «его занимали трудности перевода, непереводаемость многих образов одного языка на другой, несводимость двух картин мира» (10, с. 38). Цитирование его работ, как и его коллеги Бенджамина Уорфа и логиков-эмигрантов из нацистской Германии, стало заметным историографическим явлением в 1950-х годах, когда представители разных дисциплин обнаружили, что занимаются общим делом и видят свой предмет так похоже.

Во Франции утверждение «лингвистического поворота» связывается с именем Мориса Мерло-Понти, чья концепция о феноменологии восприятия, разработка которой началась в еще оккупированном Париже, после освобождения страны стала значимой для нескольких поколений интеллектуалов. Мерло-Понти считал слово не облачением мысли, а ее выражением, как и Витгенштейн, оказавший очень большое влияние на англосаксонский интеллектуальный мир. Благодаря Мерло-Понти эта традиция затронула и Францию, поскольку он был известен среди студентов Эколь нормаль, где в 1950-е годы учились Мишель Фуко, Пьер Бурдьё и другие в будущем влиятельные в области социального знания авторы. В 1950–1960-е годы мода на англосаксонскую аналитическую философию приходит во Францию раньше, чем в другие страны, вместе с модой на все англо-американское (джаз, рок-н-ролл, молодежную культуру).

В этот интеллектуальный котел попал и Леви-Стросс, который привез из Нью-Йорка, где он несколько лет служил советником по вопросам культуры во французском посольстве, заимствованное у Романа Jakobsona увлечение Владимиром Проппом, русским формализмом и заодно логикой Чарльза Пирса. Леви-Стросс также «вернул» интерес к швейцарскому лингвисту Ф. де Соссюру не только во Франции, но и в Англии и Америке. Развернувшиеся в Париже в начале 1960-х годов дискуссии, обозначенные как лингвистический поворот, стали важным событием не только для мира интеллектуалов, но повлияли и на художественные практики, например кинематограф Годара.

Это движение способствовало популяризации того способа анализа языка, который был предложен интеллектуальным авангардом еще в 1920–1930-е годы: в России – формалисты, эмигрировавшие в Прагу, затем в США, в Вене – Витгенштейн и логический позитивизм, в Великобритании – связанная с традицией логического позитивизма теория речевых актов Остина, во франкоговорящей среде – Соссюр, в Соединенных Штатах – Сепир и Уорф (10, с. 56).

То, что начиналось как авангард, к концу 1950-х годов уже воспринималось как классика, а к середине 1960-х годов внимание интеллектуалов все определеннее смещается к теме нарратива и способам его анализа. Это была важная работа по формализации практического мышления, сопоставлению логического анализа исторической причинности и логики здравого смысла. Многие авторы привлекали внимание к тому, что привычка связывать настоящее с прошлым буквально вплетена в язык, и эта особенность языка делает обыденные способы мышления о мире историческими.

В филологии, точнее, в русской фольклористике еще на рубеже XIX–XX вв. в работах А.Н. Веселовского предпринимались попытки различить сюжет и фабулу. У формалистов и В.Я. Проппа эти различия были сформулированы таким образом: фабула – это перечень действий; а сюжет – это связь мотивов, являвшихся функциями действующих лиц. В 1960-е годы не утихали споры о том, является ли история повествованием и можно ли применять к историческим текстам приемы анализа «сюжетостроения», что многим казалось подрывающим основания исторического знания.

К концу 1960-х годов литературоведение в Европе и США превращается в дисциплину, которая заявляет о продуктивных методах анализа текста. «Новая литературная критика» и теории «сюжетостроения» позволили поставить ряд неожиданных вопросов: что отличает историю от исторического романа? Дает ли справочный аппарат (ссылки на литературу и источники) гарантию научности?

«Обычная практика историографии предполагает конвертацию, перевод с языка источника на язык истории и использование словаря, порой серьезно трансформирующего исходные смыслы, а порой практически разрывающего с ними» (10, с. 81). Дискурс истории традиционно сближается с художественными практиками и там, где предполагается интерпретация «психологической причинности», интенций, целей и намерений действующих лиц. Само допущение того, что научная монография использует сюжет вместо объяснения, в 1960-х казалось крамольной мыслью, подрыв-

вающей основы исторической науки. Однако тогда же, на рубеже 1950–1960-х годов, франко-итальянский кинематограф «новой волны» как один из видов художественной практики сам начинает использовать прием имитации документализма, как бы подчеркивая условность границы между вымышленным и реальным.

В начале 1970-х правомерность применения лингвистической логики к анализу исторических событий попытался применить молодой сотрудник Университета Калифорнии в Беркли Хейден Уайт. Его «Метаистория» была воспринята многими как поворот в философии истории и теории исторического знания, что он сам многократно отрицал в своих выступлениях и текстах. Признанию и растущему влиянию предложенного исследователем подхода Н.Д. Потапова посвящает специальный раздел своей работы «От структурализма к поэтике истории Хейдена Уайта».

Важным условием утверждения нового направления оказалось и то обстоятельство, что лингвистический поворот как особого рода методология гуманитарного знания оказался вписанным в еще один поворот общесоциального характера – поворот к критике идеологии и анализу дискурса.

Если в 1970–1980-е годы на волне популярности неомарксизма термин «идеология» был обязательным в инструментарии аналитика, то с тех пор критика марксизма способствовала резкому снижению его популярности как аналитической категории. «Рост популярности постструктурализма и постмодернизма, концепции Фуко, Маркузе, Бурдьё и их продолжателей низвели функции термина “идеология” к нескольким новым аналитическим понятиям: дискурсу, метанарративу, симулякру и идентичности. Новый мир казался трансидеологическим и ориентированным больше на индивидуальную самореализацию, чем на коллективизм прошлых лет. В концептуальном инструментарии, созданном в те годы, идентичность казалась доминирующей идиомой для исследования постклассового общества и после холодной войны. Это понятие использовали для анализа самых разных сфер опыта, от академии до повседневной жизни, политики, экономики, культуры» (10, с. 191).

Наибольшее внимание Н.Д. Потапова уделяет процессу институализации исследовательских направлений в 1980–1990-е годы «под общим “зонтом” поворота к языку». На смену массовому увлечению социальной историей, которое переживала англо-американская наука в 1960-е годы, приходит новая история культуры (cultural history). Поворот к культуре автор определяет как фундаментальный поворот гуманитарного знания в истории, лите-

ратуре, лингвистике, который обычно прослеживают на фоне падения империй и формирования нового постколониального мира, «а марксисты пытаются связать его с разложением фордистского режима макроэкономического регулирования, экономическим кризисом рубежа 1970–1980-х годов, изменением форм и способов решения производственных конфликтов» (10, с. 195).

В этом движении видели попытки дискредитировать классовую идею, заняв внимание людей гендерными, национальными, возрастными проблемами и даже навязать им идеологию мультикультурализма, в поддержании которой якобы были заинтересованы государства и бизнес эпохи позднего капитализма. «Жесткость идеологической критики выдавала силу и влияние этого направления, в 1980–1990-е годы исследования культуры становятся одним из лидирующих направлений в истории и социальных исследованиях, быстро вытесняя другие направления и подчиняя культуральной проблематике традиционные темы, казалось, культура способна ответить на все вопросы» (там же).

Культуральные исследования раньше всего стартовали в Британии, начавшись в 1960-е годы с исследования культуры рабочего класса в прошлом и настоящем. В этом движении одним из первых симптомов поворота от социального реализма к социальному воображению Н.Д. Потапова считает книгу Эдварда Томпсона «Создание английского рабочего класса», которая вышла в 1963 г., а еще через год была издана и в США¹. Культуральные исследования помещали в фокус внимания трудовые, производственные, властные отношения, но для их изучения, для выявления действующих факторов и причинно-следственных связей предполагалось проводить не количественные исследования (считать доходы, плотность населения, соотношение численности населения и роста доходности), а качественные изменения – изучать идентичности и солидарности, ценностные позиции, которые с ними связаны, представления о должном и норме, о возможных санкциях за нарушение порядка.

В том же 1964 г. в Бирмингеме был создан Центр современных культуральных исследований (Centre for contemporary cultural studies). В конце десятилетия сотрудники Центра принимали участие в семинарах History workshop, связанных с исследованием «истории снизу», локальной, с устной историей меньшинств и

¹ Thomhson E.P. The making of the English working class. – N.Y., 1964.

дискриминируемых социальных групп, движений, которые за несколько десятилетий превратятся в Британии в мейнстрим.

Американские историки, первыми начавшие исследование культуры, занимались рабочим движением, социальным протестом, революцией. Возможность обратиться к интеллектуальной истории маргиналов вызвала интерес к методам культурной антропологии, взаимодействие с которой происходило, например, в рамках семинара по символической антропологии в Институте фундаментальных исследований (Чикаго, 1972–1974 гг.) под руководством Клиффорда Гирца и Виктора Тернера, при участии Томаса Куна и Ральфа Гизи. «Не все пришли в историю культуры через антропологию, многие – через обращение к теории литературы, постструктурализм, ассоциировавшийся с именами Деррида, Лакана и Фуко», – обращает внимание исследовательница (10, с. 219).

В Калифорнийском ун-те в Беркли сложился Центр славистских и восточноевропейских исследований (Centre for Slavic and East European studies), в значительной степени благодаря усилиям Виктории Боннелл и Реджинальда Зелника культуральная история стала одним из наиболее популярных направлений в американской русистике.

С этим же университетом, журналом «Representations» и именем Стивена Гринблатта связан «новый историзм» – еще одно направление в современной американской критической практике, как обозначает его Потапова. Инициированный в 1980-е годы, он не поддается точному и догматичному определению; в это время ждали появления новой методологии, которая сумела бы связать текст и контекст. «Новый историзм был соткан из интертекстуальности и образовал зону в пограничье дисциплинарных дискурсов. Исследователи, принявшие новый историзм, находили и исследовали множество способов пересечения исторического и литературного, затрагивающих самые разные сферы человеческого опыта, вплоть до экономики и производства» (10, с. 251–252).

Вместо больших нарративов, критика которых в 1980-е годы становится привычным делом для радикальных интеллектуалов, новый историзм предлагал формат анализа анекдота или описаний странного события с позиций современного исторического момента. Междисциплинарность, теоретическая рамка и эмпирический характер исследования были основными требованиями к публикациям, представляемым журналом «Representations», вокруг которого сложилось длительное общение заинтересованных авторов. Сюда раньше других импортировали новинки американских и европей-

ских интеллектуальных центров, разрабатывали собственные модели исследований англо-американской истории и литературы.

В процессе лингвистического поворота происходило не только создание и конкуренция новых научных направлений-«брендов», но менялись и практики новой историографии. Один из признанных «отцов-основателей» мощного интеллектуального течения Хейден Уайт в качестве сотрудника Университета Санта Круз (Калифорния) много внимания уделял организационной работе: он много рецензировал, критиковал, инициировал совместные трансатлантические проекты, на поддержку которых в начале 1980-х правительство охотно выделяло средства. Проекты со временем становились не только международными, но и междисциплинарными. Уайт организует переводы и конференции – «осваивает новые территории» в терминах того, что он называет лингвистическим поворотом. «Он пытается внушить, что есть такая мегаимперия, покрывающая аналитическую философию истории, новый историзм и европейские интеллектуальные продукты, современную теорию литературы и французский постмодернизм» (10, с. 266).

С середины 1980-х годов появляется еще одна действенная форма академической экспансии – поддержка стипендиатов из Европы, и Уайт использует ее для продвижения своего направления. Поддержку получали и те, кто занимался критикой французской историографии, в первую очередь, школы Анналов. Это был мировой и уже раскрученный качественный продукт, интересный для многих, поэтому его критика давала новой историографии пространство для экспериментов. Данная стратегия позволила лингвистическому повороту как кампании Хейдена Уайта быстро заявить о себе.

Собранные Уайтом «под одним зонтиком» молодые выпускники престижных университетов были заняты переосмыслением европейской истории, историографией, которую пытаются читать через новую исследовательскую «оптику». «Оптика у каждого своя, но ритуальные ссылки на Хейдена Уайта и друг друга обязательны (это административный прием, который внушал идею единства направления)» (10, с. 269). Теперь не период, который исследует историк, а направление, как торговая марка, определяет его «профессиональное лицо», подчеркивает исследовательница.

На излете холодной войны, в середине 1980-х годов, когда в США кипели бурные теоретические дискуссии, начинается постепенное движение на восток, за океан. Огромное финансирование накануне падения Берлинской стены получают совместные проекты, исследовательские коллективы и мероприятия на терри-

тории Европы. Когда в 1985 г. журнал «History and theory» провел в Германии международную междисциплинарную конференцию, в фокусе внимания оказались проблемы нарратологии, а во многих выступлениях подчеркивалось, «что историография – это та же литература, фигуративное построение художественного мира с определенным сюжетом, персонажами, идеологией» (10, с. 291).

Конец 1980-х годов открывает эпоху переписывания историй в глобальном масштабе: в нее вовлекаются не только Америка и европейские страны, но и Советский Союз. Новые формы письма прокладывали себе дорогу в академическом сообществе не просто. Почва, как считает Н.Д. Потапова, во многом была подготовлена критикой устройства академического мира, которую развернули историки, близкие к течению лингвистического поворота в США. В одном из подготовленных ими сборников вышла статья Ричарда Рорти «Наука как солидарность»¹. «Автор коснулся вопроса о том, как “рациональность”, “научность”, “истина”, “методология”, “твердое установление фактов” оказываются инструментами дискриминации в профессиональной среде, позволяя академическому сообществу расправляться с неудобными научными гипотезами, которые, как кажется академическим элитам, представляют угрозу для их статуса – статуса привилегированных, доминирующих научных групп» (10, с. 299). Исследователь делает заключение, что не существует «чистой науки», ученый всегда ангажирован, наука наряду с бизнесом и правом – лишь одна из сфер рациональностей, необходимая в культуре и обществе как религия и литература.

Аналогичные оценки звучат в целом ряде вышедших в те же годы работ американских историков, определяющих социальную функцию компетентного сообщества гуманитариев. «История должна заставлять людей думать, а не давать им ответы. “Рассказывание историй” дает власть, но историк должен не подчинять, а привлекать людей во власть, мобилизовать от подчинения другими историями, на производство инструментов преобразования социальной среды, каковыми являются мифы-факты (исторические верования)», – резюмирует автор их выводы (10, с. 301).

Н.Д. Потапова выделяет в постмодернистском письме еще одну форму – «новую нарративную историю», для создания которой интеллектуалы обращаются к художественным техникам – литературе и кино – вместо привычных монографий. Самым из-

¹ Rorty R. Science as solidarity // Rorty R. Objectivity relativism, and Truth: Philosophical papers. – Cambridge, 1990. – Vol. 1. – P. 35–45.

вестным произведением этого жанра в России стал роман, а затем и фильм по роману Умберто Эко «Имя Розы».

В 2000-е годы начинается игра с форматом кинодокументалистики, с форматом телевизионных фильмов и визуальной презентации и репрезентации. «Это командная работа, недешевое и непростое с организационной точки зрения мероприятие, проводить которое историки только учатся и о котором стоит говорить отдельно» (10, с. 340). Эта тема получила развитие в разделе «Вместо эпилога. История на телевидении: Большие надежды на большую иллюзию?» перечнем нескольких отечественных и зарубежных телепроектов исторического содержания.

НОВАЯ КУЛЬТУРА ИСТОРИОПИСАНИЯ

Проявление не только лингвистического, но и антропологического поворота современного социогуманитарного знания в исторической науке прослеживается руководителем секции истории отделения историко-филологических наук РАН академиком В.А. Тишковым. В работе «Новая историческая культура» (13) ученым даны оценки дискуссий вокруг вопросов истории в России в контексте мировой историографии, включая дискуссии на XXI Международном конгрессе исторических наук (август 2010 г., Амстердам). Текст, по замечанию исследователя, «назван с некоторой претензией на определение нынешнего состояния исторического сознания и статуса историописания как *новой исторической культуры*» (курсив автора. – Т. У.) (13, с. 9).

Понятие, утвердившееся в современной мировой историографии, в российской исторической науке анализируется в серии коллективных исследований, выполненных в последнее десятилетие под руководством члена-корреспондента РАН Л.П. Репиной, руководителя Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН. В них раскрывается содержание данного феномена и одновременно научного направления на материалах мировой и российской истории. В одном из таких трудов Л.П. Репина пишет о появлении исторической культуры как предмета исследования, связанного с изучением истории представлений о прошлом. «Это направление предполагает анализ явлений интеллектуальной сферы в контексте социального опыта, исторической ментальности и общих процессов духовной жизни общества. Наиболее важным в

изучении исторической культуры оказываются исторические мифы, ментальные стереотипы, обыденное историческое сознание, историческая память как совокупность восприятий, представлений, суждений и мнений относительно событий, выдающихся личностей и явлений исторического прошлого, а также способов объяснения, рационализации и осмысления последнего в “ученой культуре”» (13, с. 13–14).

Исследователями уже были предложены важные теоретические ответы, в том числе вывод о меняющейся природе исторического сознания и ремесла историка, а также об изменении статуса самой исторической науки. В работах последних лет на новых материалах еще раз было подтверждено, что история не только вариативна, но и неисчерпаема в своей способности поставлять материал для новых открытий и ревизий. Каждое поколение людей как бы создает свою версию истории, в большей степени соответствующую вопросам и проблемам, которые встают перед живущим поколением.

«В новом историческом дискурсе довольно часто утверждается мысль об истории как о демиурге, который во многом предписывает настоящее вплоть до того, что, по мнению некоторых экономистов и политологов, происходящие реформы и модернизация в России невозможны в силу особой истории страны и “генетических” характеристик ее народа: “соборность” исключает вариант западной демократии, а коллективизм и православная вера противоречат рыночной экономике и накоплению богатства... Мы сегодня знаем гораздо больше о прошлом, но это не означает, что возрастает власть прошлого над настоящим. Скорее наоборот, прошлое становится для нас более привлекательным своей возможностью манипулировать им в современных целях... Именно эта *инструментализация прошлого* может быть названа одной из черт новой исторической культуры» (13, с. 16). Сегодняшнее историописание – ключевой компонент нациестроительства (как, например, в новых странах после распада СССР и Югославии) или средство переосмысления старой национальной идентичности (скажем, в случае перехода доминирующей национальной идентичности от *английскости* к *британскости* в Великобритании либо от концепции «белой» к формуле мультикультурной Австралии). Кроме того, историописание – средство легитимации власти и существующего порядка или же претензий на его изменение либо упразднение.

Вместе с утверждением релятивистского понимания исторического знания сложилась, главным образом усилиями французских историков, цельная история исторической (или культурной) памяти. «Она не только отделила память от историописания, но и провела более тонкую границу между непосредственной (устной или живой) традицией памяти, ее бытованием в повседневной жизни и институализированной и коллективно освоенной исторической традицией, которая воплощается в топонимике, памятных местах, календаре, искусстве. **Коллективная память предстала как коллективный конструкт, как результат целенаправленных усилий и как массовое представление о прошлом на групповом уровне.** Это есть живой процесс постоянного запоминания и забывания, но некоторые константы исторической (коллективной) памяти становятся ценностно значимыми для общества и входят важнейшими составляющими в идентичность его членов» (13, с. 17).

«Дробление традиций» в современной культуре привело к формированию альтернативных представлений о прошлом, к отказу от некогда доминировавшего консенсуса по поводу национальных версий истории и глобальных трактовок, к разрушению целостности коллективной памяти. **«Эти обстоятельства, включающие внутреннюю логику эволюции дисциплины, изменение общественной среды и технологических ресурсов, стали факторами радикального изменения содержания исторической культуры»** (13, с. 19).

В традиционной историографии существует как бы три уровня рассмотрения прошлого, организации исторического материала и даже институализации профессионального сообщества: глобальный уровень (всеобщая история), национальный уровень (отечественная история), регионально-партикулярный (история этнических групп, регионов и мест). В целом, по оценке В.А. Тишкова, советская историография была амбициозной, неплохо обеспеченной кадрами и институтами и, при всех своих недостатках, одной из самых мощных национальных школ в мире профессиональных историков (там же).

После благодатного освобождения от идеологического диктата, с открытием многих архивов и с новым масштабом международных контактов в российской историографии последних 20 лет было сделано очень много, и этот чрезвычайно плодотворный период пока не нашел достойной оценки. Профессия историков остается востребованной, а вот сама наука меняется, и очень интересным образом. История государства как основная единица описания появилась в XIX в., в период образования современных нацио-

нальных государств и в то же время в период формирования профессиональной исторической науки. **«Национальная история представляла собой главный жанр историописания»** (13, с. 21). Она была и остается важным компонентом самого процесса государствообразования – формирования из населения народа в рамках установленных пространственных границ, а также объединенного конструируемой версией общего и обязательно автохтонного происхождения.

Интерес к всеобщей истории и попытки ее научной периодизации и написания общего текста, как правило, в многотомных изданиях, имели место в мировой историографии, особенно после Второй мировой войны. «Здесь одними из пионеров были советские историки с их предписанным репертуаром изучать все эпохи и все страны, опираясь на солидную марксистскую версию глобального исторического процесса (от первобытного общества к подлинному коммунизму)» (13, с. 22). Разные версии «всемирных историй» 1960–1970-х годов представляли собой сумму национальных историй. Основное внимание в них уделялось социально-политической истории и лишь частично – истории культуры.

Первым опытом создания больших исторических полотен вокруг других сфер человеческой деятельности (окружающая среда и ресурсы, экономика и торговля, миграции и т.п.) стали работы Ф. Броделя. Кризис национальных государств, рождение новых «исторических акторов» в форме транснациональных сообществ и институтов оказались решающими факторами для того, чтобы выразить неудовлетворенность историков ограничителями в виде национальных нарративов. «Новая глобальная история создается уже вне фокуса национальных историй. И одновременно идет процесс глобализации самих национальных историй» (13, с. 23).

Хотя национальные нарративы остаются доменами отечественных историков, даже в такой сильной историографии, как российская, переводные работы зарубежных авторов оказали в последние два десятилетия заметное влияние на формирование постсоветских версий национальной истории. Некоторые зарубежные специалисты заняли место среди авторов ведущих учебных пособий по российской истории (Дж. Хоскинс, Р. Пайпс, Э. Каррер д'Анкокс, Д. Ливен, А. Каппелер и др.).

Сегодняшнюю ситуацию трудно назвать «поворотом к глобальному», но ясно, что **«отход от традиционного видения истории как истории национальных государств происходит вместе с пересмотром содержания самой версии национальной**

истории, все более понимаемой как внутренне инклюзивная для разных групп и все более вписанная во всемирно-исторический контекст» (13, с. 26).

В последние годы произошло вторжение действующих правовых норм в трактовку прошлого. «В исправлении исторических несправедливостей приняли активное участие ученые-интеллектуалы, включая историков, антропологов, философов. В гуманитарных студиях появились такие направления и теоретико-методологические доктрины, как «постколониализм», «структурное насилие», «теория зависимости» и др.

Возникли общественные движения и организации, поставившие целью защиту меньшинств, «нестатусных» народов и «непризнанных» государств. Их требованиями явилось историко-правовое осуждение совершенных геноцидов, этноцидов, экоцидов, установление «исторической правды», чего не было в исторической культуре прежде.

Интернет и цифровые технологии в целом изменили не только труд историков, но и историческое сознание. *«Другими словами, изменение технологии человеческих коммуникаций изменило наш подход к истории, существенно устранив барьер (не) доступности и одновременно как бы растворив прошлое в сегодняшнем дне»* (13, с. 32). Появилась популярная история в киберпространстве в качестве части его культуры. *«Новая историческая культура означает гораздо более широкую вовлеченность массовой публики в исторические сюжеты – от истории собственного рода и семьи до древних эпох и начала человеческой истории. Современное историческое сознание стало менее строгим и более калейдоскопичным, но не более ограниченным»* (13, с. 34).

На конгрессе в Амстердаме прошло заседание по теме «Национальная идентичность и гегемония памяти», и вопрос о соотношении историописания и исторической памяти обсуждался именно в аспекте музейных репрезентаций. Музей становится важным местом государственностроительства. *«Образование через наследие (heritage education) помогает понять значение и место истории в настоящем, создает образ события или эпохи, чего, как правило, не может сделать учебный текст»* (13, с. 37). Не случайно в последние годы появилось понятие «войны памятников».

Сегодня понятия истории и наследия усложняются с усложнением состава населения. Но здесь В.А. Тишков отмечает фунда-

ментальную проблему современной исторической культуры: *по мере усложнения поля культурной идентичности поле гражданской солидарности не сужается, а, наоборот, расширяется* (13, с. 39).

Реакцией на фрагментацию национальных версий стало возрождение дебатов о «культурном каноне» или о единых стандартах в обучении истории. Сегодня наблюдается своего рода бум на исторический канон, в том числе на региональные и местные каноны, которые связываются в национальный, причем это не просто обозначение, а трактовка, разделяемая и историками-профессионалами, и обществом. В последние десятилетия вопрос о школьной истории и о национальных версиях прошлого тесно переплелся с проблемами глобальных переоценок после окончания «холодной войны» или периода «большого противостояния», с проблемами государство-строительства после распада СССР и Югославии, с причудливыми трансформациями национализма и поисками национальной идентичности.

В обществе существует несколько вариантов обращения к истории, помимо сугубо академической. Одна из особых форм бытования и использования исторического знания – школьная история. Ее отличительная черта – наличие в гораздо большей степени политического воздействия и правительственного контроля, и прежде всего через такие механизмы, как учебные планы, программы (курикулы) и система экзаменования.

За последние полвека, к началу XXI столетия, содержание школьных историй изменилось. В центре осталась история собственной страны, но это уже не только политическая, но и социальная история, включающая в себя историю всех основных групп (этнических, расовых, религиозных) и категорий населения (женщины, молодежь, старшее поколение, инвалиды и т.д.). Существенной новацией школьных версий национальных историй стало появление их региональных вариантов. Отечественная история, преподаваемая в школе, является существенным компонентом национальной идентичности, наряду с такими, как религия, язык, художественная культура и СМИ.

На заключительном пленарном заседании конгресса в Амстердаме с лекцией выступила известная голландская писательница Неллеке Ноордервлиет – автор исторических романов и биографий. По ее мнению, в Голландии и других европейских странах возобновленный интерес к истории связан прежде всего с проблемой идентичности, которая, в свою очередь, вызвана неопределен-

ностью и быстрыми переменами современной жизни, массовой иммиграцией и утратой корней. Писательница предложила создать своего рода Офис исторических жалоб, который собирал бы факты искажений и курьезов и защищал право людей на адекватную историю, способствуя развитию диалога между наукой и обществом. Сегодня история нуждается не просто в общественном диалоге, подчеркивает В.А. Тишков, но и в выстраивании границ взаимодействия с политикой (13, с. 56).

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТЕОРИИ И СТИЛЯ В АНТРОПОЛОГИИ

К определению специфики антропологических теорий в общем контексте современных социогуманитарных концептуализаций обращается в своей публикации Рой Эллен, сотрудник Кентерберийского ун-та (Кент, Великобритания) (22). Исследователь задается вопросом о том, что делает теорию «антропологической», помимо того, что ею пользуются антропологи. Ученый выстраивает своего рода пирамиду из различного рода теорий, в соответствии с уровнем достигаемого обобщения конкретных данных. По мере движения от основания к вершине очевидна нарастающая тенденция применения стратегии междисциплинарного теоретического компромисса, необходимая для объединения в общем русле научного осмысления исходных антропологических материалов и существенно различающихся между собой абстрактных понятий и категорий.

Р. Эллен привлекает внимание к тому, что смыслы понятия «теория» удивительно разнообразны. В 1960-е годы демонстрация своей принадлежности к тому или иному научному направлению была средни тотемизму: одни ученые были марксистами, другие структуралистами. Теории служили не только для научных интерпретаций, но и выполняли целый ряд других функций, от идеологических до эстетических, характеризуя своих приверженцев как особый тип личности. Но уже в то время сформировался своего рода «рынок идей», каждую из которых можно было использовать оптимально для анализа конкретной ситуации. Смысл теории, как подчеркивает Эллен, заключается не в том, «чтобы ограничивать и запрещать, а в том, чтобы обслуживать и освобождать исследователя» (22, с. 388).

Ученый подчеркивает, что не ставит перед собой задачу обосновывать преимущества одних теорий над другими или ранжировать их в определенном порядке. Анализируя процессы «теоретизирования» в период 1965–2007 гг., Эллен рассматривает антропологию в наиболее общем смысле, включая ее биологические и социальные субдисциплины.

В известной работе Марвина Харриса «Развитие антропологической теории»¹, которая стала своего рода *magnum opus* антропологических теорий, существовавших со времени эпохи Просвещения, обзор был дан с позиций культурного материализма. Предложенная ученым последовательность «смены школ» с небольшими изменениями используется теперь в большинстве обзорных работ по истории антропологии с 1850-х по 1970-е годы. Однако один из уроков историографических исследований англо-американской антропологии, инициированных Дж. Стокингом в конце 1960-х годов, заключается в том, что попытки представить интеллектуальную историю дисциплины как последовательную смену взаимоисключающих парадигм – эволюционизм, диффузионизм, функционализм – при более внимательном рассмотрении оказываются далеко не бесспорными.

С конца 1960-х годов в области социальных и гуманитарных исследований начинается настоящий теоретический бум, и именно теоретизирование получает признание как, возможно, высшая форма интеллектуальной деятельности. Основанная в 1977 г. Группа теоретической археологии (*Theoretical Archaeology group*) рассматривалась ее участниками как ответ на обвинения в отсутствии теоретических разработок в дисциплине и важный шаг в достижении общего уровня социальной антропологии, частью которой является археология.

Наиболее эпистемологически адекватным и убедительным объяснением крайне противоречивого теоретизирования того времени, дискредитирующего и подрывающего «стабильные парадигмы» и ведущего к потере «общей перспективы», автор считает крах «социального научного проекта», в основе которого лежала позитивистская причинно-следственная «социальная физика». Ее разрушение осуществляла постмодернистская критика, особенно скептически настроенная по отношению к «метанарративу» – теоретическим обобщениям широкого плана. Прозвучали призывы вообще отказаться от

¹ Harris M. *The rise of anthropological theory.* – L., 1969.

теории или, по крайней мере, использовать «практические подходы» и ограничиться «этнографией» как теорией.

«Большая теория», за исключением дарвинизма, стала немодной, и, по наблюдениям и оценкам С. Ортнера (S. Ortner, 1984), теоретические построения стали более частными, эклектичными, менее определенными. В антропологической теории создалась ситуация своего рода «шведского стола», как называет ее Эллен. Казалось, можно было говорить о торжестве теоретической диверсификации, но то, что многие считают «теоретическими изменениями» на протяжении последних 40 лет, в действительности больше похоже на перемещение «концептуальных метафор» при наличии обширных темных зон их амбивалентного взаимопересечения. По мнению Г. Моор (H. Moore), задача концептуальных метафор (таких как глобальный, природа, гендер, целостность (body), самость (self) и др.) – поддерживать неоднозначность и продуктивную напряженность между универсальными теоретическими схемами и конкретным историческим контекстом (22, с. 389). Существуют также «дотеоретические» понятия, своего рода «концептуальные стенограммы» или символы, которые действуют как дескрипторы глоссария (descriptive gloss). Они практически не пересматриваются и подвергаются существенной «деформации» в процессе последующего теоретизирования. Очевидно, что теории такого рода сопоставимы с «теорией искусства», иронично замечает автор.

Одновременно в конце 1980-х годов отмечался рост интереса к антропологической теории, в частности, в 1987 г. начала свою работу Группа по обсуждению антропологической теории (Group for debate in anthropological theory), а в 2001 г. был учрежден журнал «Антропологическая теория» (Anthropological Theory). Возможно, предполагает Эллен, что проблема заключалась не в особенностях теоретизирования в антропологии, а в том, что антропология как единое дисциплинарное поле распалась.

Две противоречивые тенденции: наличие настоящего рога избытка частично воспринятых идей и одновременно подъем антитеории – заставляют вспомнить об основных функциях теории: «служить в качестве набора предположений, позволяющих объяснить тот или иной феномен или имеющиеся данные» (22, с. 380). Большая часть «теорий» в социальной антропологии с большим трудом генерирует гипотезы для тестирования качественных характеристик объектов. Так, например, попытка корреляции матрилейности (счета родства по материнской линии) и общественного статуса женщины показывает, что матрилейность не является

надежным индикатором последнего. Это служит предупреждением об опасности упрощения при создании моделей, формируемых на основе измерений или количественных показателей, как это принято в ряде компаративистских проектов, таких, например, как «Этнографический атлас» Дж. Мёрдока

Заявка исследователя об использовании какой-либо теории обычно лишает его возможности анализировать данные с альтернативных позиций, хотя известные в науке теоретические «взаимодополнения» бывают особенно продуктивны: волновая теория света и квантовый механизм; экономическая теория обмена и альтруистической реципрокности (распределения). Теории не являются ни взаимоисключающими, ни абсолютными; они только лучше или хуже, а главное – по-разному, представляют и объясняют наши данные, подчеркивает Р. Эллен.

Теория, как считает автор, включает в себя и методологию, но это не одно и то же. Ситуация усложняется тем, что оба термина зачастую используются исследователями в разных значениях. Согласно одному из определений методология представляет собой системное изучение принципов ведения исследований и способов применения теорий. С этой точки зрения можно говорить о марксистской методологии, этнометодологии, даже дарвинизме в широком смысле. Это также область философии, которая анализирует принципы и процессы исследований, целостные системы методов в различных дисциплинах. В процессе современных концептуальных смещений методологию иногда отождествляют с комплексом специфических для той или иной дисциплины «методов и техник», например, в антропологическом контексте ее часто сводят к включенному наблюдению.

Сам Эллен определяет метод как основной способ получения данных, каким для антропологии выступают интервьюирование или фиксация истории жизни (life-story). Методология и метод концептуально различны по своей природе, хотя очевидно «взаимообусловлены». Теория – это объясняющая модель, систематизированная совокупность предположений, основанных на наблюдениях, и обеспечивающая тестирование гипотез. В наиболее общем смысле теория – это одна из нескольких альтернативных возможностей установления познавательной полезности той или иной гипотезы.

Определяя специфику антропологической теории, Эллен неоднократно подчеркивает, что она не уникальна, и общепризнанные сферы антропологических исследований – культура, происхож-

дение человека, сравнительные исследования общества – не являются исключительно антропологическими. Однако крайнюю точку зрения своих коллег, например, Г. Моор, относительно того, что антропологическая теория невозможна, поскольку «антропология одновременно все и ничто», Эллен не разделяет. Специфичность теории, по его мнению, определяется не столько уникальностью, сколько особенностью сочетания исследовательских подходов и интеллектуальных выводов, отличных от других областей знания.

Исторически в британской научной традиции давней проблемой был вопрос об отнесении антропологии либо к разделу компаративной социологии как части социологической теории в целом, либо к более частному разделу изучения обществ особого типа (примитивных – primitive, незападных – non-Western). В XX в. антропология уже не ограничивается отдельными географическими или этнографическими пространствами, поскольку в глобальном контексте мы все «другие» относительно друг друга. Кроме того, в современном мире существенно расширились возможности получения данных методом включенного наблюдения или «этнографии», которую многие рассматривают уже не как метод, а как методологию.

Напряженность противостояния между интерпретативной антропологией и физической антропологией, включая генетику, или между социальной и биологической науками определяет фундаментальный теоретический фокус современного антропологического знания в наиболее общем смысле. В таком качестве Эллен выделяет когнитивную антропологию или теорию взаимодействия и взаимопонимания между биологией и культурой. Объяснение того, как и почему информация, воспринятая мозгом одного человека, преобразуется и передается последующим поколениям людей, требует объединения теоретических ресурсов различного вида: эволюционной этологии, когнитивной психологии и культурной селекции.

«Антропология, в отличие от социологии и психологии, уделяет культуре серьезное внимание, выявляя социокультурные формы *всех исторических вариаций* (курсив автора. – Т. У.) поведенческих систем человека. Это центральная проблема антропологии, а также главная задача при объединении различных видов теорий. В процессе решения этой задачи выявляется механизм того, как мозг индивида получает необходимые знания и практики, обучается и переобучается, реализует, модифицирует и реинтерпретирует их, чтобы человек мог функционировать социально и

этологически в меняющихся контекстах последующих поколений. В конечном счете это все тот же “дарвиновский вопрос”, но он требует другого уровня межтеоретического взаимодействия» (22, с. 393).

В зависимости от масштаба пространственно-временного обобщения и степени абстрагирования Эллен предлагает подразделять теории на три основные категории. Базовые или «гранд-теории» (структурализм, марксизм) претендуют на универсальное объяснение человеческого поведения. Закономерности социальных, культурных и биокультурных систем различных типов выявляют специальные теории или теории среднего уровня. Термин «middle-range theory» был предложен Р. Мертоном (R. Merton) в 1968 г. применительно к антропологическим исследованиям. Такого рода теории получили особое развитие в британской социальной антропологии. Они имеют тенденцию к типологическим обобщениям (например, классификации систем родства) и, таким образом, претендуют на более высокий теоретический уровень. Э. Лич (E. Leach) еще в 1961 г. привлек внимание к этому феномену, критически сравнив его с «коллекционированием бабочек» (22, с. 394). Третий уровень представлен теориями, проливающими свет на конкретные социокультурные ситуации. Обычно в них не используются тесты, основанные на статистических методах, зато востребованы ценности «качественного подхода», в частности, гирцевского (Geertzian) «насыщенного описания».

В заключение автор обращается к «изобилию холизма» (от англ. whole весь, целый. – *T. V.*), имплицитно присущего антропологической теории. Холизм в антропологии разнообразен в своих проявлениях: это этнографический холизм, тайлоровский холизм, биокультурный холизм историко-экологического типа, универсализм идеографического релятивизма (в духе М. Харриса), холизм взаимосвязи всех компонентов общества, наконец, теоретический холизм различного рода дарвинистских моделей. Какую бы из версий холизма ни выбрать, главным аргументом в его пользу, считает Эллен, служит методологически защитимая позиция обеспечения взаимодействия разных специальностей при решении общей для всех проблемы. Предложено даже понятие «множественный холизм» (polythetic holism), в котором объединены разные его проявления.

Королевский антропологический институт (РАИ) на протяжении почти столетия пытается сохранить единство дисциплины. По меньшей мере в двух докладах президентов Института такие

попытки были предприняты. Доклад Риверса (W.H.R. Rivers) в 1922 г. на ежегодной сессии назывался «Единство антропологии» («The unity of anthropology»). Спустя четверть века Д. Форд (Daryl Forde) в 1948 г. в докладе «Интеграция антропологических исследований» привел убедительные аргументы в защиту единства дисциплины, но он сражался в проигранной битве. В начале XXI в. интеллектуальный и институциональный ландшафт антропологии изменился полностью, хотя некоторые из этих изменений ученые предвидели несколькими десятилетиями ранее.

Главные выводы относительно интегративных процессов двух последних десятилетий связаны с признанием того, что разделы современной антропологии и теории каждого из них обусловлены природой изучаемых феноменов. Тем не менее антропологам разных специальностей есть что сказать не только друг другу, но и выразить коллективное мнение о социальных и культурных проблемах всему миру политмейкеров (22, с. 401).

Для меня, пишет Р. Эллен, причина быть антропологом заключается не в том, что это просто «другая социальная наука». Именно в антропологии сложились реальные возможности для постановки и поисков решения вопросов о происхождении человека и его разнообразии – биологическом, социальном, культурном – на основе стратегического теоретического компромисса.

* * *

Американский антрополог с культовой для обществоведения последних полутора веков фамилией Маркс в работе с парадоксальным названием «Почему я не ученый: Антропология и современное знание» (23) предлагает свою точку зрения на роль антропологии в контексте развития научного знания.

Профессор антропологии Ун-та Северной Каролины (г. Шарлотта), специалист в области физической антропологии (молекулярная биология и генетика) Дж. Маркс занимается проблемами эволюции человека. В своем исследовании он анализирует взаимосвязь между «антропологией и наукой», или, как поясняет автор, он прослеживает, как антропология влияет на историю и социологию исследований культуры и, в конечном итоге, на общую модель науки. В каждой из десяти глав его книги представлен один из аспектов науки как особой сферы интеллектуальной деятельности с точки зрения антрополога.

Наука рассматривается как особая культура и вместе с тем самостоятельный субъект (Side). В целом автор считает возможным говорить о науке как о специфической форме осмысления окружающего мира, сложившейся в Европе XVII–XVIII вв., т.е. достигшей эпохи модерна, когда начали разделять сферы естественного и сверхъестественного, несмотря на все еще более широко принятые представления об их единстве и неотделимости одного от другого.

Производство научного знания в высшей степени контекстуально. Крупные научные открытия совершаются только тогда, когда общество идеологически, технологически и интеллектуально готово к ним. Наука – это метод, т.е. способ получения знания, а также дорога просвещения. Иными словами, наука – это не сумма фактов, даже самых важных, а способ их получения и осмысления, что, по мнению Дж. Маркса, должно определять содержание образовательного процесса в современном обществе. Сегодня необходимо понимать, почему людям нужен научный взгляд на окружающий мир (universe), понимание того, что же этот мир представляет собой на самом деле. Ведь есть и другие важные вещи, считает ученый, которые стоит знать каждому: добро и зло, законное и незаконное, готический и романский стили и многое другое.

В середине XX в. науку начали рассматривать как одну из антропологических культур, исследуемую с применением антропологических методов, концептуальных подходов и аналитического инструментария. Для антропологии науки особый интерес представляют вопросы о том, как наука влияет на повседневную жизнь людей и как они воспринимают ее. Как и почему люди сопротивляются научному знанию? Как администрируется наука в различных политических и экономических контекстах? Есть ли области знания, в которых подготовка современных специалистов нуждается в улучшении? (23, с. 25).

При определении понятия научной революции автор особо выделяет роль и значение такой крупнейшей фигуры, как Исаак Ньютон, «первая суперзвезда» мирового научного знания. С его деятельностью связывают начало оформления общепризнанной нормы (или мифа) о разграничении теологического и научного. Со временем эта идея включила в себя и такие составляющие, как политика, идеология, этика. Одновременно сформировалась точка зрения, что идеальный ученый должен исходить из идеальной позиции «здесь и сейчас», т.е. обладать совершенно открытым соз-

нением, без каких-либо предрассудков и конъюнктурных соображений.

Несмотря на получившее широкое распространение представление о постоянном противостоянии науки и религии, оно сложилось лишь в конце XIX в. и по сути явилось идеей уже современного (модерного) общества. При очевидном наличии конфликтов наука никогда не претендовала, да и не обязана претендовать на замену собой религии (23, с. 49).

В так называемой нормативной науке или в повседневной научной практике, как в любой социальной среде, действуют свои нормы и правила. Проверка подлинности гипотез, которая и составляет основу интеллектуальной научной деятельности, зачастую выявляет ложный характер многих из них. Создание новых гипотез и их тестирование требуют формирования новых научных моделей или парадигм, что и определяет природу научных революций (по Т. Куну). Моменты сосуществования разных парадигм становятся периодами глубоких научных кризисов, поскольку представители разных научных направлений не способны к конструктивному диалогу: они не «слышат» друг друга, даже используя одни и те же ключевые понятия и термины, которые оказываются наполненными разным содержанием.

Огромным вкладом Т. Куна в науковедение, по оценке Дж. Маркса, стало применение им антропологического культурного релятивизма к изучению науки. Столкновение парадигм по сути рассматривается исследователем как столкновение культур (a clash of cultures). Последующее поколение ученых, находившихся под влиянием взглядов М. Фуко, будет использовать куновское понятие парадигмы по отношению к стилю мышления (не только научного) уникальных культур в контексте более широкого общекультурологического понятия «картина мира» (worldview) под названием эпистемы (epistemes).

М. Фуко привлек внимание к взаимосвязи науки и современного государства. Наука выступает в роли своего рода официального арбитра при определении «нормативного» и «ненормативного», определяет уровень толерантности по отношению к различным категориям общественных явлений и поведению людей, предоставляя государству осуществлять контроль над ними. Современное государство и наука коэволюционируют, объединяя свои функции. Наука всегда была и будет неотделима от культурных матриц власти, престижа, политики, как один из источников их авторитета. Наука всегда защищает status quo – будь то «расо-

вая гигиена» Гитлера, ламаркистская генетика Сталина или англо-американский социальный дарвинизм конца XIX в. В современной науке вновь и вновь разыгрывается драма эдемовской истории: оставаться человеком или пытаться отыскать средство для различения добра и зла, заключает автор, используя для характеристики истории науки выразительную метафору из библейского источника.

Дж. Маркс рассматривает науку и как рутинную практику, в которой, как и в любой другой, может присутствовать недолжное выполнение своих обязанностей, вплоть до должностных преступлений. Автор считает возможным выделить ложную науку, особенно в пограничных областях с ненаучными подходами, в первую очередь, креационизмом.

Как особое течение в антропологии Дж. Маркс рассматривает «колониальную» науку или изучение коренного (индигенного) населения различных регионов мира, которое характеризовалась и взлетами, и падениями. В рамках одного из последних проектов в этой области (2007) предлагалось индивидуальное посещение экзотических народов в местах их исторического происхождения – от Монголии до Калахари – и генетическое обследование путешественника с целью установления его родства с аборигенами, которых можно посетить, прибыв в сколь угодно отдаленное место на борту Боинга-757. И поездка, и обследование обходились примерно в \$50 тыс. Такова одна из последних версий колониальной науки – генотуризм, историческую иронию которого автор видит в том, что иногда даже лабораторные крысы обучаются быстрее некоторых ученых, поскольку реализованный проект генома человека позволил, наконец, оспорить целый ряд положений так называемой расовой и гендерной науки, которые тем не менее все еще продолжают отстаивать свои позиции (23, с. 228).

* * *

Интерес российских этнологов и антропологов к современным трансформациям национальных научных школ – их традициям, стилям, стереотипам, парадигмам – проявился в подготовке сборника, в статьях которого авторитетные антропологи США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии, Бразилии, Мексики и Южно-Африканской Республики, а также России рассуждают о научных «инкарнациях» антропологии в их общест-

вах, вписывая дисциплину в контекст современного гуманитарного знания (1).

Предисловие составителя публикации, сотрудника Института этнологии и антропологии РАН (Москва), сотрудника кафедры антропологии Университета Райса (США) А.Л. Елфимова фактически выполняет роль вводной статьи под названием «Антропология в разных измерениях». Автор привлекает внимание к тому, что опыт зарубежных, особенно европейских традиций был важным ориентиром для российской / советской науки. Во многом так же первоначально развивалась и американская антропология, причем сходств между контекстами становления антропологии в России и США XIX в. было много – и там и там новообразованная наука была ориентирована на цели внутреннего колониализма, а не внешнего, как, например, в Великобритании; и там и там она выросла на экспедициях по освоению собственной территории и т.д. (1, с. 12).

Несмотря на текучий и мобильный контекст эпохи глобализации и на произошедшую *de facto* смену ориентиров в построении исследовательских проектов, антропология до сих пор остается привязанной к принципу региональной специализации, который, несомненно, хорошо знаком отечественным этнографам и антропологам. «Этот принцип, с исторической точки зрения, представляет собой наследие того, что антропология сложилась в характерном геополитическом климате эпохи высокого развития национальных государств, эпохи колонизации и деколонизации, иными словами, эпохи, в которой объект антропологии – пресловутые “Другие” – в некотором роде отождествлялся с конкретной физической пространственной фигурой, имеющей выражение на карте» (1, с. 15). В англоязычном антропологическом мире обсуждения тенденций в «национальных стилях» дисциплин, подобные предлагаемому, с конца 1970-х годов превратились в своего рода ритуал, повторяющийся каждое десятилетие.

Пенни Харвей (Harvey) – профессор Центра исследований социокультурных изменений Манчестерского университета (Англия) в статье «О преимуществах структурной маргинальности британской социальной антропологии» привлекает внимание к тому, что традиционная антропология, долго находившаяся в так называемой парадигме спасения, подогрела интерес к изучению альтернативных жизненных миров, поставленных под угрозу. Антропология занимает маргинальное место в британских университетах и общественном сознании по той причине, что она подвергает со-

мнению общепринятые установки и вскрывает контекстуальную обусловленность того, что подается под видом универсальных объяснений.

Британская социальная антропология традиционно гордится своей эмпирической традицией, упором на долговременные полевые исследования и в последнее время, пожалуй, политической актуальностью проводимых исследований.

«Среди областей исследования, которые хорошо спонсируются в последнее время, присутствуют, к примеру, такие, как социальное и экономическое развитие, нищета, медицина, биология человека, воздействие новых технологий на общество, окружающая среда, корпоративная культура, творческая культура. Классические объекты внимания антропологии – родство, обмен, религия или власть – входят в предметную сферу данных областей исследования» (1, с. 25). Многие исследователи озабочены вопросом о том, как обеспечить циркуляцию антропологического знания, установить связь с более широкой аудиторией и достичь более значимого воздействия антропологического знания на мир.

Андре Гингрих (Gingrich), профессор кафедры социальной и культурной антропологии Венского университета в статье «Меняющиеся контексты, меняющееся содержание: о статусе социокультурной антропологии в немецкоязычных странах» сосредоточивает внимание на трех основных темах: 1) восприятие социокультурной антропологии в обществе; 2) терминологические и институциональные проблемы дисциплины; 3) проблемы, связанные с внутренней дифференциацией дисциплинарного сообщества в немецкоязычной зоне.

Рассуждая о специфике «немецкоязычного наследия» в антропологии, следует учитывать, обращает внимание автор, что это наследие в известной мере продолжает существовать в своем собственном мире – мире, очерченном границами немецкого как академического языка. «В этом смысле можно сказать, что немецкоязычная социокультурная антропология существует в том самом глобальном лингвистическом “кастовом обществе”, о котором говорил Пьер Бурдьё в своем выступлении на конгрессе Американской антропологической ассоциации в 1964 г.» (1, с. 32). Немецкая антропология начала очень медленно, через воздействие событий 1968 г., стряхивать с себя тень ассоциаций с нацистским прошлым, чтобы снова быть в состоянии оценить значение национальной антропологической традиции, двинуться вперед, трансформироваться и адаптироваться к новым реалиям. Одной из сильных сто-

рон немецкоязычной антропологии до сих пор остается изучение местных языков и письменных источников. Это закономерно сочетается с приверженностью дисциплины к эмпирическим методам, опирающимся на этнографическую полевую работу и архивные изыскания.

До 1950-х годов книги, газеты, радиопередачи и выставки оставались доминирующими средствами массовой информации, через образы и стереотипы которых антропология воспринималась публикой. Процесс стирания черт, характерных для «немецкой» традиции, начался на западе немецкоязычной зоны в 1950–1970-х годах, шел рука об руку с процессом девальвации традиционных жанров репрезентации, посредством которых антропологическое знание передавалось обществу. Сегодня стереотип антропологии неявен и выражен неоднородно, но по-прежнему связан с деятельностью антропологов в «далеких экзотичных краях» и образом «фольклориста» или антрополога, работающего «дома» и изучающего традиционную крестьянскую культуру.

В последнее время наметилась тенденция к сближению двух областей и уже имели место случаи слияния учреждений. Что касается крупнейших институциональных центров (Берлин, Галле, Цюрих и Вена), то, по мнению А. Гингруха, благодаря их расположению в социально активной урбанистической среде они способствуют активизации контакта исследователей с обществом. Антропологам удается на более или менее регулярной основе информировать публику о предпринимаемых проектах. Знаменательно, что и публика начинает вновь проявлять интерес к антропологической литературе и музейным выставкам после долгих десятилетий отсутствия внимания к этнографическим музеям.

О социокультурной антропологии США, ее проблемах и перспективах пишет Джордж Маркус (Marcus) – почетный профессор кафедры антропологии Университета Калифорнии в Ирвайне. Важнейшим фактором исследователь считает то, что «корабль дисциплины снялся с тех якорей, на которых он простоял большую часть XX в.» (1, с. 49). Угасанию интереса к принципу построения антропологического знания на фундаменте традиционных «зарубежных этнографических регионов» способствовало то, что постепенно Западная Европа и современная культура США вошли в число важных объектов антропологического исследования. Кроме того, в последнее время некоторые специализации по проблемному принципу приобрели статус, сравнимый со статусом регионального способа специализации в прошлом. Возможно, ра-

бота с этнографическим архивом «народов и регионов» когда-нибудь возобновится и ее цели будут переосмыслены, но пока этого на горизонте нет, считает ученый.

Этнографическая полевая работа, как межкультурное столкновение в сегодняшнем идеологически поляризованном мире, неизбежно и изначально политизирована. Важным и необходимым аспектом этнографической деятельности стало более серьезное осмысление взаимоотношений между этнографами и изучаемыми людьми в условиях полевой работы.

Культура как феномен теперь не представляла в антропологических трудах в таком холистическом эссенциалистском обличье, как раньше, а вырисовывалась как гораздо более реалистичное по характеру явление – фрагментированное и пронизанное нитями исторических процессов, связывающих глобальное и локальное (1, с. 57).

Среди тенденций развития антропологии в последнее время обозначилась отчетливая тенденция движения к общественно значимой антропологии, к антропологии, которая могла бы быть понятна публике, к антропологии, которая могла бы использовать богатый фонд накопленного материала в продвижении нашего знания о настоящем, в целях лучшего понимания сложности культурно-исторических условий, в которых находится наше собственное общество и общества тех людей, что живут рядом с нами, считает Дж. Маркус.

Марк Абельес (Abe`l'es) профессор Высшей школы социальных исследований (EHESS) (Париж) в статье «Об антропологии во Франции» рассматривает, какое место занимает сегодня антропология во французском интеллектуальном ландшафте. Автор считает, что возникновение социальной и культурной антропологии в современном понимании этой дисциплины во Франции относится к первой половине XX в. По сути, современная антропология во Франции началась с Марселя Мосса. Начиная с 1960-х годов развитие французской антропологии неотделимо от процесса деколонизации. С этого времени этнология / антропология занимает особое место в системе гуманитарных наук: наблюдается настоящее сотрудничество исследователей – лингвистов, семиотиков, психоаналитиков и структурных антропологов. «Идея о том, что можно общими усилиями создать науку о человеке, располагающую столь же строгой методологией и мощными средствами формализации, что и точные науки, вызывает всеобщий энтузиазм» (1, с. 71).

В последние десятилетия за пределами ограниченного круга антропологов существует настоящий общественный интерес к но-

вым подходам в дисциплине. Один из этих подходов продолжает леви-строссовскую традицию изучения человеческого духа: это когнитивная антропология, изучающая способы производства и трансляции культурных представлений.

Другое направление, вызывающее большой интерес у молодого поколения антропологов, неотделимо от осознанной необходимости изучать острые проблемы современности.

Томас Эриксен (Eriksen), профессор социальной антропологии Университета Осло, свое отношение к развитию дисциплины вынес в название статьи – «Успех с горьковатым послевкусием: Рассказ о норвежской антропологии». Автор констатирует, что предмет преподается как на начальном, так и на продвинутом уровне в четырех университетах (из пяти имеющихся) и нашел себе место даже в междисциплинарных курсах, читающихся в рамках других дисциплин и областей исследования (таких как социально-экономическое развитие, миграции, национализм). Большое число норвежских антропологов публикуется в международных изданиях за пределами Норвегии, однако и «дома» существует свой антропологический дискурс на норвежском языке, поддерживаемый специализированными журналами и книгами.

Сегодня норвежская антропология в целом развивается в рамках того, что по сути является мейнстримом в англо-американской антропологической дисциплине. Однако так дело обстояло не всегда. В первые десятилетия XX в. антропология в Норвегии находилась под большим влиянием немецкой этнографической и этнологической традиции, и антропологи того времени не всегда могли провести линию разграничения между изучением культуры и изучением расы (1, с. 110). С 1950-х годов норвежская антропология начала испытывать влияние североамериканской антропологической традиции с ее идеей «четырех областей», которая превращала антропологию в широкую всеобъемлющую «науку о человеке».

Как бы то ни было, большинство своих научных исследований норвежские антропологи сегодня публикуют на английском языке и, проводя этнографическую полевую работу в разных уголках мира, принимают активное участие в жизни англоязычного антропологического сообщества. Локальный колорит и локальная специфика проявляются в том, что в Норвегии, относительно масштаба страны, очень большое число работающих антропологов. В стране более тысячи человек имеют квалификацию антрополога, при численности населения в стране 4,5 млн человек (1, с. 112).

Норвежским школьникам дается небольшой объем антропологии в последний год обязательного обучения (оно длится 10 лет и сопровождается тремя годами продвинутого обучения на уровне «высших классов»). Здесь, в рамках занятий по обществоведению, даются начальные основы антропологического знания. На этапе продвинутого обучения социология и антропология входят в число факультативных предметов, и на них ежегодно записываются от 7 тыс. до 10 тыс. человек.

О существовании антропологии в Норвегии так хорошо знают и по причине активной включенности антропологов в общественную жизнь. Не проходит и недели без того, чтобы антрополог не выступил в печати, на радио или телевидении. В 1990-х годах в обозревателях СМИ «начали проявляться антропологи», ибо именно антропологические идеи о культурных различиях, о конструировании норвежской национальной идентичности, о современности традиции и грехах этноцентризма стали так активно проникать в общественное сознание. В других странах, как отмечает автор, вину за подобные тенденции нередко возлагали на «постмодернизм» (1, с. 115). В стране сложилось осознание большого потенциала, скрытого в антропологическом способе анализа вещей и явлений. Тот факт, что многие норвежские антропологи сегодня занимаются исследованием проблем не некоего «экзотического», но собственного норвежского общества, лишь больше говорит публике об уместности и важности их работы.

Хан Фермойлен (Vermeulen) – профессор кафедры культурной антропологии Лейденского университета (Нидерланды) – в статье «Антропология в Нидерландах: Прошлое, настоящее и будущее» дает краткий очерк развития дисциплины в более широком контексте социальных и гуманитарных исследований в стране. С 1950-х годов двойственный характер нидерландской антропологии сохранялся в параллельном развитии, объединении и противопоставлении культурной антропологии и социологии западных обществ, что нередко происходило в рамках одного и того же университетского отделения. Антропология с самого начала имела сильную ориентацию на исследование колоний: ее интересы были сосредоточены на изучении Ост-Индии (Индонезии), хотя и не ограничивались только этим регионом. Когда в 1836 г. была создана первая кафедра для подготовки колониальной администрации при Королевской военной академии в Бреде, это была кафедра по географии и этнографии Малайского архипелага. Первая университетская кафедра этнологии была основана в Лейденском универси-

тете в 1877 г. и считается одной из старейших кафедр в мире, занимающихся социально-культурной антропологией (1, с. 135).

Сегодня антропология присутствует в шести из 14 нидерландских университетов. Исследования Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор абсолютно преобладают. Вследствие такой «заморской» ориентации внешней политики и существующих национальных критериев в финансировании исследований, антропология Европы получила значительно меньшее внимание. Именно по этой причине в современных дискуссиях о феномене мультикультурности в Европе от Нидерландов принимают участие не антропологи, а философы и социологи.

К темам особого интереса относятся гендерные исследования, медицинская антропология и исследования проблем биологического воспроизводства, этнические меньшинства и миграции. В меньшей степени финансируются исследования в таких областях, как музейная антропология, визуальная антропология, история антропологии и общая антропология, несмотря на устойчивый интерес к этим предметам (1, с. 153).

Нидерландская антропология хорошо оснащена для изучения культурного многообразия, мультикультурного поведения и групповой динамики в современных обществах – как в западном, так и в незападном мире. Пока, однако, нидерландские политики продолжают экономить на антропологическом образовании и исследованиях. Можно лишь заключить, подводит итог автор, что, по их мнению, проблемы транснационального и многокультурного общества пока недостаточно сложны.

Асильда Рамос (Ramos) – профессор кафедры антропологии Университета Бразилии – в статье «Этнологи и индейцы: Бразильский сценарий» предлагает свой взгляд на проблемы национальной антропологической дисциплины, подчеркнуто не претендуя на статус нейтрального наблюдателя.

Сосредоточенность бразильской этнологии преимущественно на межэтнических отношениях связана с политической приверженностью защите прав изучаемых народов и с историческим контекстом в стране. В Бразилии совмещение академических обязанностей с социальной ответственностью практического свойства не только встречается часто, но и вполне желанно и ожидаемо со стороны антропологического сообщества в целом.

Рождение бразильской антропологии обычно усматривают в корнях движения за модернизацию в 1920-х годах и усилий по созданию бразильской нации. «Долгом интеллектуалов в то время

была разработка такой идеи национальной идентичности, в которой использовалось бы все “местное” (native). Их творчество было мотивировано и направлялось гражданской ответственностью по отношению к консолидации некоего определенного “согражданства”. Антропология возникла и стала процветать как раз в этом контексте» (1, с. 165).

В 1980-х годах большинство статей было сосредоточено в основном на таких темах, как крестьянство, индигенные исследования. В 1990-х годах выросло число статей об эпистемологических проблемах, региональной динамике, этноистории, гендере, попкультуре и преподавании антропологии. Сегодня исследовательские интересы включают такие вопросы, как общественное здоровье, государственная политика, политика партий, неправительственные организации, окружающая среда, прогноз биоресурсов.

Бразильской антропологии еще необходимо осознать события последних десятилетий, ставших свидетелями глубокой трансформации политической роли индейцев как на местном, так и на общенациональном уровне. «Ни один из теоретических подходов, например, исследования аккультурации, модель межэтнических трений или теория этничности, не представляется вполне подходящим для раскрытия сложностей индигенного движения в современной Бразилии», – заключает исследовательница (1, с. 176).

Эстебан Кротц (Krotz) – профессор Центра региональных исследований Автономного университета Юкатана (г. Мерида, Мексика) в краткой статье выделяет три этапа в развитии мексиканской антропологии XX в.: национальная интеграция (конец XIX – середина XX в.), социальная критика (вторая половина XX в.), академическая интеграция (2000-е годы). «Чтобы завершить характеристику последнего и все еще длящегося этапа мексиканской антропологии, следует указать также на замещение словаря, почти вездесущего на прошлом этапе, другим, в котором явления, прежде называвшиеся, например, “эксплуатация”, “империализм”, “внутренний колониализм”, “господство”, “идеология” сейчас представлены такими терминами, как “исключение”, “глобализация”, “постколониализм”, “демократизация” и “символические миры”» (1, с. 189).

Очерк Александра Бошковича (главный научный сотрудник Института социальных наук (Белград, Сербия)) и Иланы Ван Вик (докторант Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета) «Проблема идентичности: Антропология в

Южно-Африканской Республике (1921–2004 гг.)» посвящен антропологии на африканском континенте.

Проблемы российской этнологии анализируются в статье Сергея Соколовского (ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН) «Прошлое в настоящем российской антропологии», что и будет рассмотрено в следующем разделе.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В РОССИЙСКОЙ ЭТНОЛОГИИ: ОТ ГЕНЕТИКИ ДО ИДЕНТИЧНОСТИ

Процессы дисциплинарных изменений не менее активно идут и в российской антропологии, пожалуй, наиболее наглядно проявляясь в виде усложнения ее структуры. Последствия нарастающей «внутренней междисциплинарности» анализируются в публикациях специальной серии «Отечественная этнография / этнология как практика междисциплинарных исследований». Очередной выпуск серии, посвященный этому научному феномену, включил статьи ведущих сотрудников Ин-та этнологии и антропологии РАН, в которых представлен опыт интеграции наук в отечественной этнологии второй половины XX – начала XXI в. и даны его далеко не однозначные оценки.

Характеризуя, например, ситуацию в этнополитологии и политической антропологии, появившихся на рубеже 1980–1990-х годов, и подчеркивая большое количество и разнообразие дисциплин, представители которых участвуют в разработке проблематики данной сферы, С.В. Соколовский обращает внимание на возникающие в этой связи сложности: «Поскольку координация и попытки синтеза конкурирующих в этой области описаний и фрагментов тезаурусов различных дисциплин практически отсутствуют, эта гетерогенная смесь знаний различных типов в российском случае пока не привела к убедительным обобщениям и скорее обслуживает интересы государства (включая гео- и внутреннюю политику) и местных национальных элит, нежели представляет собой самостоятельный локус производства знаний об обществе», – считает исследователь (20, с. 32). Заимствования из других национальных научных школ с их собственными концептуализациями, методами и тезаурусами, кроме вполне очевидной полезности, воспроизводят ситуацию отставания, при которой российская антропология в

целом и этнополитология в частности оказываются в положении, зависимом от внешних для нее референтных центров. Развитие этой субдисциплины сегодня зависит не столько от обобщений высокого уровня и макротеорий, сколько от скрупулезного изучения низовой политики идентичности и микрополитических ситуаций, в которых происходит взаимодействие местных, региональных и глобальных факторов.

Городская антропология, по мнению С.В. Соколовского, в России развивается быстро, что стимулируется нарастающей урбанизацией населения страны, сокращением финансирования полевых исследований и, наконец, прогрессирующим старением академии. До середины 1980-х годов советская версия этнографии города в методологическом и теоретическом отношении не отставала от городской антропологии в американском варианте. Современные российские исследования городских субкультур в отличие от западных постсубкультурных концептуальных ресурсов не фиксируют быстрой смены эфемерных феноменов и коммуникаций – мод, вкусов, пристрастий, хитов – сегодняшней городской культуры, считает исследователь (20, с. 38).

Директор Института этнологии и антропологии РАН М.Ю. Мартынова характеризует разнообразные сферы практического применения этнологических / антропологических знаний. В первую очередь выделены этнополитические исследования и экспертиза. Учрежденное в 1992 г. Министерство по делам национальностей (первый министр – академик РАН В.А. Тишков) много внимания уделяло вопросам национально-территориального устройства, учитывая усиливавшиеся претензии так называемых этнических лидеров. Ещё одной неотложной проблемой стала разработка программ и законопроектов в отношении беженцев. Важным направлением работы были вопросы контроля над территориями и ресурсами для коренных малочисленных народов. Позднее Институт выступил одним из основных разработчиков «Концепции государственной национальной политики Российской Федерации» и Федерального Закона «О национально-культурной автономии» (приняты Государственной думой РФ в 1996 г.). Наряду с участием в экспертном обеспечении законодательной деятельности велась текущая разработка инструментария переписей населения (Всероссийские переписи 2002 и 2010 гг.), развитие категорий государственной статистики. По заказу Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в 2013 г. подготовлен Модельный закон «Об осно-

вах этнокультурного взаимодействия государств – участников СНГ» (20, с. 57–58).

Получила развитие социально-экологическая экспертиза, оценивающая взаимодействие в целостной триаде общество – природа – хозяйство, включая медико-демографические характеристики населения. В ряде работ последних лет исследовались социокультурные последствия техногенных катастроф на Южном Урале и после Чернобыльской аварии.

Важной прикладной сферой является вклад этнологов и антропологов в развитие поликультурного образования и межкультурной коммуникации.

Из традиционных тем безусловным приоритетом в исследованиях Института является изучение истории и этнологии русского народа. Более детально эта тематика рассмотрена А.В. Бугановым. С 1944 г. в структуре Института существовал восточнославянский сектор, состоявший из Московской и Ленинградской частей; в конце 1986 г. Московский сектор получил название сектора этнографии русского народа, в 1990 г. он обрел статус отдела. Важным достижением исследовательского коллектива стало написание обобщающих трудов и сборников, посвященных русскому народу и отдельным русским регионам. В 1997 г. вышел в свет фундаментальный труд «Русские» (серия «Народы и культуры»). До 2004 г. том переиздавался четыре раза. Работа содержит очерки по материальной и духовной культуре, учитывающие новые архивные и экспедиционные данные. Особенностью подхода исследований материальной культуры стало изучение своеобразия культурных комплексов. «Специфические черты, свойственные отдельным историко-культурным группам, рассматриваются в общерусском контексте в динамике социально-экономического развития» (19, с. 233). В отличие от предыдущих трудов при характеристике различных аспектов общественного быта и духовной культуры особое внимание уделено «таким новым для этнологии русских сюжетам, как национальное самосознание и народная память, традиционный нравственный идеал и вера, народная религиозная концепция зарождения и начала жизни, женщина в русской семье, гражданские праздники и др. При анализе современных этнических процессов акцент сделан на развитии русской диаспоры за рубежом» (19, с. 234).

В последние годы предметом исследования стала социально-демографическая структура русских, их культура, выраженность этнической идентичности в разных социально-культурных средах.

Существенное внимание было уделено миграционной подвижности и адаптации русских в зонах позднего расселения, их социально-культурному статусу, трансформации в историко-культурном развитии русских, этническим аспектам формирования новой этнической идентичности. Специальная монография характеризует положение более чем 20-миллионного русского населения в 14 бывших союзных республиках. Изучалась также современная этнокультурная ситуация на украинско-российском и российско-белорусском пограничье (19, с. 237–238).

Фундаментальным исследованием последних лет стала работа академика В.А. Тишкова, посвященная истории и смыслу самосознания русского народа (14).

Для понимания развития этносоциологии большой интерес представляет публикация материалов интервью (проведено Г.А. Комаровой) с тремя яркими представителями отечественного этносоциологического сообщества: членом-корреспондентом РАН Ю.А. Арутюняном, руководителем Центра по изучению межнациональных отношений Института социологии РАН Л.М. Дробижевой и руководителем Центра по изучению межнациональных отношений (ЦИМО) ИЭА РАН М.Н. Губогло.

Итоги интервью подводят вопросы: «Насколько изменилось положение этносоциологии в России с конца 1980-х годов? Что на Ваш взгляд, происходило в отечественной этносоциологии в последние 20 лет?» Ю.В. Арутюнян отметил рост интереса к этносоциальным процессам в период перестройки. Вместе с тем «реально мало используются открывшиеся политические возможности для осмысления современных политических процессов. Этносоциология стала слабее» (20, с. 90).

Л.М. Дробижева, оценивая итоги развития дисциплины с конца 1980-х годов, когда этносоциология стала востребованным обществом научным направлением, отмечает, что в последующие десятилетия институциональная поддержка массовых исследований в ИЭА сократилась, «и за последние 10–15 лет произошла интенсивная социологизация этносоциологии» (20, с. 91).

По мнению М.Н. Губогло, состояние и исследовательская ситуация в современной российской этносоциологии «определяется противоречивостью и растерянностью, отсутствием ориентиров. Перед динамично меняющейся повседневностью в трудовой и общественно-политической сфере и перед форсированным ростом этнической идентичности и, в частности, моды на религиозность, этносоциология, похоже, рообет», – заключает исследователь (там же).

Научный руководитель ИЭА РАН академик В.А. Тишков в статье «Новая политическая антропология» привлекает внимание к тому, что современная политическая антропология «включила в свой арсенал не только вопросы социальной истории повседневности и политическую экономию, но и вопросы “символического капитала” массовых информационных воздействий и неформальных сообществ как важнейших элементов политического поля и системы власти, а также самого существования культурно сложных сообществ (национальных и транснациональных)» (20, с. 104).

Опыт междисциплинарных исследований в отечественной этнологии характеризует статья В.А. Шнирельмана «Междисциплинарный подход и этногенез». Исследователь привлекает внимание к тому обстоятельству, что в 1980–1990-е годы сравнительно-историческое языкознание сделало колоссальный рывок вперед. Реконструируя обширные пласты протолексики, лингвисты получают реальную возможность изучать особенности культуры, социальной организации и образа жизни народов, говоривших на пра-языках в глубочайшей древности, что позволило выйти за пределы собственно лингвистической тематики и подойти к решению важнейших проблем первобытной истории. Эта ситуация должна учитываться исследователями смежных дисциплин, занимающихся родственной тематикой, в первую очередь, этнографами и археологами. С этой точки зрения наиболее плодотворным представляется изучение переломных критических периодов в жизни общества, которые могут быть хорошо засвидетельствованы и лингвистически, и археологически, как, например, переход к производящему хозяйству, который имел глобальное значение и нашел отражение во всех сферах культуры, в том числе и в языке (20, с. 261). При этом следует учитывать, что лингвистические и археологические источники могут отражать исторический процесс весьма по-разному, что создает почву для противоречий, возникающих при корреляции этих данных друг с другом.

Публикация А.Д. Коростелева и В.В. Степанова «Историческая статистика в России: Исторический опыт и взгляд в будущее» посвящена статистическому учету этнического состава населения России в контексте международных стандартов статистической информации о культурном разнообразии жителей разных стран. Касаясь методологических проблем подготовки необходимой документации и процедуры переписей, авторы отмечают их неполное соответствие для фиксации сложных этнокультурных ситуаций, в частности, множественной этнической идентичности (20, с. 299).

Характеризуя проблемы и результаты применения новых исследовательских методов, В.В. Степанов в статье «Электронное этническое картографирование: Теоретические и практические подходы» констатирует, что совершенствование компьютерных технологий обеспечило своего рода тихую революцию в этнографическом картографировании, «ведь электронная карта, сохраняя и даже повышая уровень подробности, теперь способна отражать и неопределенные состояния, столь характерные для этнической идентичности» (20, с. 360). Принципиальная модель расселения этнической общности становится важным прогностическим индикатором устойчивости группы. Даже сравнительно небольшие этнические общности расселены на обширных территориях, и при слабом внутреннем информационном обмене более подвержены разрушительным воздействиям. Для целей экспертизы, считает автор, наиболее удобны эмпирические модели, созданные популяционными генетиками.

Перспективными исследователь считает и подходы нового поколения отечественных и зарубежных географов, имея в виду социально и культурно ориентированный взгляд представителей дисциплины, получивший развитие с середины 1990-х годов. С помощью научного прикладного картографирования культурных и управленческих процессов на полевых материалах по территориям Кавказа и Закавказья предприняты попытки создать своего рода «портрет» конфликта или местных общественных противоречий, обусловленных использованием природно-хозяйственных объектов и системой социальных отношений (20, с. 365).

Несколько публикаций представляют собой очерки современных антропологических субдисциплин. Процессам становления и развития отечественной этноэкологии посвящена работа А.Н. Ямскова. Современное состояние и перспективы этологии человека (научная дисциплина, изучающая биологические основы поведения) в России представлены в очерке Ю.Н. Феденюк. Юридическая антропология как междисциплинарное исследование характеризуется в работе Н.И. Новиковой. А.А. Белик в обзоре «Экономическая антропология на рубеже XX–XXI вв.» в качестве ключевого понятия исследований выделяет «экономическое поведение» и, соответственно, «экономическое сознание» при негативном отношении к формальной экономической теории. А.С. Курленкова выявляет многообразие исследовательских подходов в отечественной медицинской антропологии. Определение терминов и методологического аппарата российской визуальной антропологии дано в историческом

очерке Е.С. Данилко. Н.В. Шалыгина характеризует историю и перспективы этногендерных исследований в современной России. Интеграция этнологии и религиоведения при изучении религиозной ситуации в России рассматривается в работе О.Е. Казьминой.

Особыми исследовательскими сферами, хотя и не претендующими на статус сформировавшихся субдисциплин, стали «Мир профессий как поле антропологических исследований» (публикация П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой) и «Антропология академической жизни», или исследование того, как сами ученые конструируют мир научного сообщества Г.А. Комаровой (20, с. 225).

Междисциплинарные исследования получили развитие в таких областях отечественной научной школы, как изучение мира детства (Г.А. Комарова). Вместе с тем Д.В. Громов в статье «Ювенология: Всегда ли оправдана междисциплинарность?» ставит вопрос о необходимости и оправданности новых дисциплинарных направлений, в частности, области знаний, связанной с изучением молодежи как социально-возрастной группы. Признавая важность и значимость прикладных исследований такого рода, в попытке создания специальной субдисциплины автор видит пример «конструирования» не вполне жизнеспособного научного «кентавра» (20, с. 403.)

А.В. Буганов в очерке «Об антропологическом изучении большого спорта» характеризует отечественные исследования такого значимого социокультурного феномена, как спорт высших достижений. В контексте этнолого-антропологического знания внимание уделяется субкультуре спортивных болельщиков, включая радикальную часть клубных фанатов. Важно, чтобы через интерес к большому спорту в жизнь населения России входило понимание важности здорового образа жизни (20, с. 424).

В публикации С.В. Чешко «Перспективы и ретроспективы междисциплинарности в этнологии: новое или почти забытое?» подчеркивается, что «вся история мировой этнологии проникнута методологией междисциплинарности», поскольку этнологическое исследование предусматривает использование комплексных источников и методов, за исключением узкоспециальных этнографических тем (20, с. 392).

Междисциплинарные исследования ведутся в нескольких отделах ИЭА РАН, традиционно занимающихся физической антропологией. Здесь появились такие новейшие подходы, как поведенческая антропология, психологическая антропология или

кросскультурная психология, изучение феноменов пола в российской антропологии. Особого внимания в этой области заслуживает работа ведущего научного сотрудника ИЭА РАН М.Л. Бутовской, в которой пол и гендер в человеческом сообществе представлены как комплексный биосоциальный феномен. Этология человека в комплексе с эволюционной психологией предлагают рассматривать феномен пола и поведение человека, с ним связанное, как итог миллионов лет эволюции гоминин (предшественников современного человека), а в ряде случаев рассматривать базовые стратегии мужского и женского пола в более широком контексте всего животного царства. В основе книги лежат материалы многолетних полевых исследований автора, проведенных в России, Франции, Германии, Танзании, Замбии, Руанде, Уганде, а также работы отечественных и зарубежных исследователей.

В работе последовательно показаны различия между биологическим полом как морфофункциональными характеристиками организма, включающими его репродуктивные особенности и свойства, и гендером как социокультурным конструктом, обозначающим социальные аспекты взаимоотношений между полами. Очевидные анатомические различия между полами уже в древнегреческой культурной традиции стали основой отношения к женщинам как к ослабленной и ухудшенной копии мужчины и, соответственно, объяснения социального доминирования мужчин.

Как свидетельствуют современные биологические исследования, формирование пола у человека – процесс сложный и многоступенчатый. Он опирается на восемь критериев (или составляющих), шесть из которых биологические, а остальные два связаны с психологическими и социальными факторами – воспитанием и самоидентификацией. Новейшие исследования выявили достоверные морфологические различия в строении отдельных участков мозга у мужчин и женщин, что лежит в основе различий в их поведении, а также объясняет различную частоту встречаемости разных заболеваний мозга и их протекания. По-разному у представителей разных полов протекают процессы нейрохимии мозга. Выявленные характеристики могут оказывать большее влияние на жизнь человека, чем половые различия в строении тела.

Сюжет формирования полов с биологических позиций свидетельствует о базовости женского генотипа, большей устойчивости женского организма к влиянию окружающей среды (4, с. 23–24). Что касается собственно человеческого общества, то многие психологи и социальные антропологи уверены, что *гендерные роли и*

гендерная идентичность (курсив автора. – Т. У.) не определяются напрямую биологическими различиями полов. В каждой культуре присутствуют *гендерные стереотипы* – общепринятые представления о том, как должны выглядеть и вести себя мужчины и женщины.

Общество обычно устанавливает определенные правила внешнего вида для мужчин и женщин применительно к одежде, причёске, украшениям, а также в отношении допустимости в костюме открытого тела. Даже не слишком подробный исторический экскурс свидетельствует, что внешние атрибуты гендерной принадлежности изменчивы во времени и пространстве. Присущее современному обществу постепенное размывание четкой грани между мужской и женской ролью отдельных индивидов не означает унификации панкультурного сходства гендерных различий, по-прежнему определяемых фактором пола. Характер индивидуального развития во многом обусловлен воспитанием и традициями семьи.

Антропометрические характеристики мужского и женского тела, в частности различия в пропорциях (более длинное туловище и короткие конечности у женщин), а также соотношения мышечной, жировой и костной ткани (мышечной ткани у женщин в среднем на 10% меньше, а жировой – примерно на столько же больше) во многом определяются репродуктивным предназначением полов. Силовые виды спорта и современные препараты могут существенно менять структуру строения женского тела, но, как правило, с потерей детородных функций. Напротив, избыток жировой ткани у мужчин, по данным современной медицинской статистики, достоверно свидетельствует о снижении репродуктивных возможностей.

Различия строения и функционирования мозга проявляются, например, в большей функциональной асимметрии полушарий головного мозга у мужчин, позволяют говорить о половых различиях по вербальным и пространственным способностям. Последние в большей степени развиты у мужчин, а у женщин на 30% больше нейронных связей, задействованных в речи. Данные различия отражают характер мужской и женской когнитивной организации, универсальный для всех культур интерес мужчин к механике и пониманию пространственных соотношений предметов, целенаправленной моторике. Женщины обычно более бегло говорят, читают, пишут, демонстрируют лучшую ассоциативную память, обладают более тонкой моторикой, решают эмоциональные задачи. В среднем в пределах любой человеческой популяции 80–

85% мужчин имеют мужской когнитивный паттерн, для 90% женщин характерны феминизированный мозг и женский склад ума.

Понятию «войны полов» в работе посвящено несколько разделов. В биологии оно связано с характером взаимодействия генов на этапе эмбрионального развития у млекопитающих, не исключая и человека. Гены, полученные от отца и матери, могут «преследовать» разные интересы. Но чаще конфликты между полами у человека проявляются более очевидным образом как реальное насилие между супругами или постоянными партнерами.

В традиционных обществах более распространенным является физическое насилие в отношении женщин. Особенно асимметрия в отношениях доминирования между супругами выражена в полигинных обществах (брак с несколькими женами одновременно). Мужчины в этих обществах считают, что женщины глупее, ведут себя по-детски и нуждаются в принуждении к дисциплине. Так, в северной Танзании, невзирая на организацию ряда образовательных программ по правам человека, в начале XXI в. 85% замужних женщин сообщили о насилии со стороны мужа, из них 15% получали серьезные травмы от побоев. В 2000 г. в семейных столкновениях были убиты 384 женщины и 144 мужчины (4, с. 82).

В современных западных странах жертвами семейных конфликтов все чаще становятся мужчины, кроме того, уровень вербальной агрессии со стороны женщин гораздо более высок. В 2000 г. по данным статистики в США жертвами физической агрессии со стороны партнера стали 1,2 млн женщин и 835 тыс. мужчин.

Тем не менее брак как социальный институт, регламентирующий отношения брачных партнеров, их родственников и свойственников, является универсалией, присущей всем человеческим обществам. Характеризуя его истоки, исследовательница опирается на данные палеоантропологии, которые показывают, что в процессе эволюции человека последовательно удлинялся период младенчества и детства. В этих условиях наряду с материнским вкладом неизбежно возрастала роль отцовского вклада в обеспечение выживания потомства. Не исключено, что постоянные брачные пары стали формироваться и с целью снижения сексуальной конкуренции между мужчинами.

Модель так называемой сериальной моногамии является наиболее распространенной в условиях действия экологических и экономических факторов у современных охотников-собирателей. Большинство этих традиционных обществ патрилокальны и пат-

риархальны, что позволяет интересам мужчин реализовываться в большей степени, чем интересам женщин. Автор анализирует эту модель с точки зрения мужского и женского репродуктивного успеха на примере общества датога – полукочевых скотоводов Восточной Африки в северной Танзании. На основании собственных полевых материалов и результатов работ других исследователей М.Л. Бутовская приходит к выводу, что вопреки имеющимся представлениям, у датога полигиния не влияет негативным образом на уровень репродуктивности у женщин. Главными факторами выживаемости детей до пяти лет являются экологические условия и уровень обеспеченности семьи.

В современном обществе, как свидетельствуют данные социологических опросов, критерии мужской и женской привлекательности продолжают опираться на те же качества, которые считались наиболее предпочтительными и в традиционных обществах. Именно качества лучшего охотника и защитника (активность, ответственность, стремление и способность к лидерству), наряду с уравновешенностью и спокойным нравом, которые ценили женщины хадза (охотники-собиратели) и датога (скотоводы) Танзании, вошли в перечень качеств желательных партнеров для семейной жизни.

Исследования в среде российского студенчества, проведенные автором совместно с австрийскими коллегами, свидетельствуют, что у этой категории молодежи также продолжают действовать универсальные стереотипы, сходные с аналогичными выборками по Западной Европе, США и Канаде и отражающие общеэволюционные показатели мужской и женской привлекательности (4, с. 191).

Россия в терминах маскулинных и фемининных обществ безусловно относится к обществам маскулинным. В этом плане она сближается с Австрией, Великобританией, Германией, Японией и кардинально отлична от фемининных стран, таких как Голландия, Дания, Норвегия, Швеция. В маскулинных обществах мужские ценности сильнее отличаются от женских, а ценности старшего поколения – от ценностей молодежи. В фемининных обществах ниже половая сегрегация в отношении высшего образования и карьерного роста женщин. Эти общества отчетливо различаются по представленности женщин во властных структурах.

Тенденции к равноправию женщин в экономической, политической и семейной сферах вызовом гендеру не являются, они лишь отражают закономерные адаптивные изменения во взаимо-

отношениях между полами и логичное развитие гендерных ролей в новых исторических условиях, заключает М.Л. Бутовская.

Итоги подводит статья В.А. Шнирельмана «Междисциплинарный подход: Соблазны и реалии». Признавая большие возможности такого подхода, автор вместе с тем считает его «элитным знанием, доступным очень немногим», имея в виду не только проведение таких исследований, но даже восприятие их результатов, требующих знания о методах и инструментарии смежных дисциплин (20, с. 435). Еще одной не менее важной проблемой исследователь считает формирование рядом с современной наукой альтернативной науки (самого разного толка), в которой участвуют и некоторые представители академической науки. «В любом случае перед нами целая новая область научных исследований, связанная с общественными настроениями, социально-политическим контекстом научных исследований и социальной ролью местной интеллигенции» (20, с. 438). На Западе это направление исследований давно развивается в рамках изучения националистических мифов и социальной (исторической) памяти. Исследования такого рода заставляют ставить вопрос об этике научных исследований. В отечественной традиции они пока не получили развития, хотя сегодня имеется немало данных о том, как между соседними народами происходит борьба за престижных предков и как в ряде случаев создается «научная основа» для идеологии конфликта вплоть до взаимной ненависти и межэтнических войн.

Проблемы презентации разнообразного современного этнолого-антропологического знания в общественном пространстве с помощью этнографического музея поставил Ю.К. Чистов, директор Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры им. Петра Великого). Старейшие музеи Европы возникли в результате освоения европейцами Эйкумены и знакомства с разнообразием «чужих» культур. Они ведут свою историю от комплексных музеев и коллекций (кунсткамер, кабинетов редкостей, галерей) XVI–XVIII вв. В петербургской Кунсткамере, основанной в 1714 г. по указу императора Петра Великого как первый государственный публичный музей, также с самого ее основания был раздел коллекций «искусно сделанных вещей» (19, с. 352).

В самом начале XX в. вопрос об изменении экспозиций Музея антропологии и этнографии (МАЭ) был поднят в связи с созданием Этнографического отдела Русского музея (ныне Российский этнографический музей). Были по-разному определены цели и задачи обоих музеев. Академический музей должен был постро-

ить на этнографическом материале из быта различных племен и народов экспозицию, показывающую эволюцию человеческой культуры, начиная с доисторического периода и кончая высшими культурами современности. Вновь созданный музей представил на своих экспозициях культуру и быт народов Российской империи. Как многие европейские музеи, МАЭ со времени своего основания является уникальным симбиозом музейного и научного центра, будучи почти триста лет «академическим» музеем.

Музеи, имеющие в своем багаже от 100 до 300 лет истории собирания, изучения и экспонирования этнографических коллекций, к концу XX в. в очередной раз оказались перед необходимостью задуматься о концепции развития на ближайшие десятилетия. Этот вопрос вызвал дискуссии в среде профессионалов. «Следует особо подчеркнуть, что динамика парадигмы антропологического знания (этнография – этнология – социокультурная антропология) совпадает с изменением внутренней политики ряда крупнейших стран Европы по отношению к этническим меньшинствам этих стран и проживающим в них группам эмигрантов из бывших колоний: от переосмысления ряда устоявшихся терминов в устной и печатной языковой традиции до переосмысления ряда культурных концепций, в том числе и экспозиций в этнографических музеях» (19, с. 355).

Достаточно типична ситуация, когда музей представляет некие идеальные модели культур «этнографического прошлого» (конец XIX – начало XX в.), претендующие на целостное описание, которое в «классическом» музее включает обязательный набор характеристик основных занятий, ремесел, промыслов, поселения, жилища, утвари, одежды, обрядовых практик, народного искусства.

Обращаясь к мировому опыту трех самых больших музейных проектов последнего десятилетия, – создание Национального музея американских индейцев в Вашингтоне, Музея на набережной Бранли в Париже, Музея мировых культур в Гётеборге (Швеция) – исследователь подчеркивает, что все они позиционируют себя как инновационные музейные, образовательные и информационные центры.

Изменения старых концепций музеев в немалой степени инициированы заказом на политкорректность, установкой которой является борьба с ксенофобией, нетерпимостью, межрасовыми и межэтническими конфликтами. Большинство музеев в последние десятилетия резко сократили сбор новых коллекций или почти полностью отказались от него в пользу создания, там, где это еще

возможно, фото-, аудио- и видеоархивов. Многие веб-проекты МАЭ позволяют «открыть фонды для посетителей» в виртуальном пространстве, превращая страницу петербургского Музея антропологии и этнографии в Мировой сети в важнейший образовательный портал. Виртуальный музей в Сети в среднем ежедневно посещают более 3,5 тыс. человек, что в два раза больше числа реальных посетителей.

ЦИФРОВОЙ ПОВОРОТ. ОБРАЗЫ РЕАЛЬНОЙ ВИРТУАЛЬНОСТИ

Сложное соотношение виртуальности и реальности свойственно и другим областям современного этнолого-антропологического знания в соответствии с изучением реалий информационного общества. Используя данное понятие, введенное М. Кастельсом (7), российские и зарубежные ученые исследуют роль СМИ и Интернета в формировании идентичностей и регулировании общественных отношений, включая сферу межэтнического взаимодействия.

«Ученые анализируют формы и способы медийного освещения этнокультурной жизни народов, особенности отражения межэтнических и межконфессиональных отношений в разных каналах СМИ, направления их деятельности – на взаимодействие и сотрудничество народов или на создание напряженности и разжигание конфликтов в обществе. Один из интереснейших для науки и важных для практики вопросов касается способов и форм медийного формирования идентичностей, роли современных СМИ в консолидации народов России и в формировании (укреплении) общероссийского гражданского сознания» (2, с. 6).

Академик В.А. Тишков, характеризуя глобальные подходы к феномену медиа в контексте развития современных медиатехнологий и актуальных общественно-политических событий XXI в., так формулирует постановку проблемы: «Медиа поглощает культуру или – это часть культуры?» Ученый считает возможным выделять антропологию медиа как научное направление в рамках социально-культурной антропологии, которое оформилось в последние два десятилетия. В рамках Европейской ассоциации социальных антропологов с 2004 г. эта субдисциплина представлена сетью специалистов, которые проводят регулярные сессии в рамках кон-

грессов этой влиятельной организации, а также организуют самостоятельные конференции.

Новейшее направление медиаантропологии – это исследование Интернета, или киберантропология, затрагивающая широчайший спектр сюжетов, начиная от браков по Интернету, блогов, формирования идентичностей, киберфеминизма, диаспор, виртуальных сообществ и племен. «В самое последнее время встал вопрос о глобальном контроле через каналы коммуникации (интернет-сети, телефонная связь, коммерческие операции, государственные социальные службы и т.д.) за деятельностью людей, включая их карьерные продвижения, семейную и имущественную ситуацию, времяпрепровождение, пристрастия и т.д. Это совсем новая сфера для изучения и осмысления антропологами в надежде на благо людей, а не во вред им» (2, с. 15).

И.Н. Блохин (Санкт-Петербург) в публикации «Коммуникативная совместимость в интеграции медиапространства» анализирует данный феномен с точки зрения выявления его структурных компонентов, основных агентов и их функций. Разнообразные сообщества формируют сети агентов медиапространства и собственные средства коммуникации. Ярким примером такой деятельности являются этнические СМИ, цель которых заключается в этническом культуртрегерстве, создании стереотипов и формировании позитивных образов собственной культуры. «Журналистика, выполняющая интегративные функции, неизбежно обращается к темам взаимодействия различных культур и сопутствующей ей проблеме толерантности» (2, с. 23).

В.К. Малькова (Москва) в работе «СМИ и современное полиэтничное общество» привлекает внимание к тому, что наиболее актуальные проблемы в данной исследовательской сфере связаны с общими теориями коммуникативных процессов, информационным противостоянием различных стран и социальных сил, с этическими проблемами деятельности журналистов. Толерантная или конфликтная направленность деятельности СМИ становится предметом внимания и оценок не только исследователей, но и широкой мировой общественности.

Исследования российской прессы фиксируют устойчивое внимание как федеральных, так и региональных СМИ к этническим аспектам жизни в России. В столичных изданиях процент публикаций, содержащих этническую информацию, доходит до 15–20%, в республиканских их доля превышает 50% (2, с. 48). Как правило, это этнонимы, позитивные и негативные этнические сте-

реотипы, этнически окрашенные идеи и мифы. Такого рода информация может содержаться в публикациях разного типа – от аналитических статей до рекламных объявлений. К числу наиболее острых тем последних лет относятся межэтнические и межконфессиональные конфликты в российских регионах и за рубежом, проблемы мигрантов и их адаптации в принимающее общество, этнические фобии, обусловленные национал-экстремизмом и терроризмом. В современных условиях научно-экспертные оценки деятельности СМИ становятся важной научно-практической задачей различных общественных сил – от правозащитников до ученых-обществоведов. Помимо этого, «для исследователей, изучающих этнополитический, этнокультурный и этнопсихологический фон в стране или в регионе, этническая информация в традиционных СМИ, а теперь еще и в интернете – ценнейший этнокультурный, этнопсихологический и исторический источник» (2, с. 57). Ещё одна публикация В.К. Мальковой в сборнике – «Российская пресса о возвращении Крыма».

Целый ряд публикаций посвящен анализу региональных СМИ в России и за рубежом и имеет прикладное значение. В.С. Кан характеризует этническую тему в тувинских СМИ; О.Г. Сидоров прослеживает межэтнический диалог в якутской прессе, выявляя особенности медиа полиэтнического региона. С.Л. Распопова анализирует опыт этнокультурного взаимодействия в СМИ Приднестровья. А.В. Гурко оценивает роль средств массовой информации в формировании этнической и национальной идентичности молодежи (на примере Гродненской области Республики Беларусь).

Серия публикаций посвящена анализу актуальных проблем в интернет-пространстве. Украинская тематика представлена в статьях Д.В. Громова «Украинский кризис и бои в Интернете», И.А. Снежковой «Кризис на Украине и информационные войны», Г.Н. Стояновой «Репрезентация этничности в социальных сетях: Конструирование реальности и идентичности на примере Одесской области, Республика Украина». Проблемы конструирования региональной идентичности рассматривает и Д.П. Каранов в статье «Ингерманландия on-line».

Н.В. Казурова сопоставляет репрезентации этнической тематики немецкого и турецкого кинематографа в статье «Берлин – Стамбул: Перекресток кинематографических культур». Общественное звучание современных медиа оценивает О.Н. Савинова в публикации «СМИ как фактор межкультурного диалога в обществе риска и подготовка журналистских кадров». Автор уделяет осо-

бое внимание введению этнологического компонента в образовательную программу подготовки будущих специалистов в сфере массовой коммуникации, осуществляемой на кафедре журналистики Нижегородского государственного университета. Помимо практических навыков работы по подготовке и организации крупных этнокультурных проектов (фестивали национальных культур, ведение переговоров с представителями этнических организаций и общественности, проведение мониторингов этнических СМИ), большое внимание уделяется международному сотрудничеству в сфере подготовки журналистов и специалистов по связям с общественностью, в частности, в рамках соглашения с норвежским университетом Волда (2, с. 274).

Сборник завершает публикация декана журфака МГУ Е. Вартановой «Антропология медиа: Индустриальный и философский поворот к человеку как тенденция развития науки». В последние десятилетия усиление академического интереса к человеку в медиаисследованиях стало очевидным, считает автор. «Многие ученые смещают фокус теоретического и эмпирического анализа с изучения социальных систем и медиаинститутов на изучение поведения и медиаиспользования массовой и фрагментирующейся аудитории, небольших аудиторных сообществ, отдельных людей, учитывая не только демографические, но и языковые, этнические, религиозные, стилевые, индивидуально-психологические характеристики» (2, с. 277).

Изучение российских СМИ в последние десятилетия концентрировалось вокруг нескольких основных подходов, которые в целом совпадают с основными векторами изучения медиа за рубежом. В академической традиции СМИ традиционно рассматривались как социальный институт, оказывающий значительное влияние на формирование общественного мнения, политические процессы, функционирование национального государства, создание и развитие коллективной идентичности. СМИ изучались и как своеобразная сфера социума – общественная или публичная сфера.

Оценивая доминирующие подходы к СМИ в России, Вартанова подчеркивает, что основной школой российских академических исследований, как и за рубежом, следует признать социоцентрическую, которая интегрирует политологический, медиаэкономический (вырастающий из политэкономического) и технократический подходы (2, с. 282). В отличие от зарубежных, российские медиаисследователи опираются также на отечественную текстоцентрическую традицию с ее особым вниманием к лингвистическому дискурсу. Применяются

также этнографические методы и подходы социально-культурной антропологии для изучения медиапотоков и журналистского профессионального сообщества. Изучая медиапрезентации этносов и этнических культур, роль СМИ в создании климата толерантности и межэтнических взаимодействий, исследователи дают новый импульс развитию антропологии медиа.

В последние десятилетия идет процесс формирования так называемых активных аудиторий – и в выборе текстов, и в их распространении, и даже в их производстве. Овладение пользователей простейшими навыками создания контента запускает процессы, которые ведут к «цифровому перераспределению власти» в СМИ, в результате чего меняется характер взаимодействия между журналистами и аудиторией с усилением влияния последней на создание медиапродукции. Интернет, встраиваясь в повседневную рутину медиапотребления россиян, все активнее его трансформирует.

Сегодня можно говорить о формировании концепции «человека медийного», существование которого напрямую связано с включенностью в медиасреду и реализуется в информационных и коммуникационных процессах получения, потребления и распространения медиаконтента, определяющего стратегии поведения и ценностные установки медиааудитории. В первую очередь это относится к так называемым цифровым аборигенам (*digital natives*), т.е. детям, рожденным в цифровую эпоху. «Это поколение уже сегодня иным образом, чем их родители, воспринимает медиасреду и очень быстро усваивает технологические навыки, необходимые для поведения в ней, хотя зачастую не отличается критическим подходом к медиасодержанию» (2, с. 294).

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИБЛИОМЕТРИИ

Информационные технологии используются и для количественных исследований современного производства гуманитарного знания. В рамках программы фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук «Традиции и инновации в истории и культуре» С.В. Соколовский выполнил проект «Российская антропология: Субдисциплины и междисциплинарные связи». Для характеристики последних автор проанализировал показатели распределения плотности цитирований.

Ссылочный ландшафт российской антропологии в работе использовался «в качестве лишь одного из возможных источников для уяснения положения дисциплины, не наделяемых особым авторитетом или исключительным значением» (2, с. 521). Стили и манеры цитирования, сложившиеся в разных дисциплинарных сообществах существенно различаются. Среди гуманитариев и представителей социальных наук отчетливо выделяются «монографисты» и «журналисты». К первым, судя по индексам цитирования в РИНЦ, автор относит российских философов, психологов, филологов, историков, часть археологов (московских), этнологов / антропологов. На цитирование журнальных статей ориентированы экономисты, социологи и часть археологов (Петербурга и Новосибирска). В силу многих и очень разных причин среди представителей гуманитарных дисциплин предпочтение отдается цитированию монографий. Перечень публикаций российских антропологов с порогом цитируемости свыше 200 состоит исключительно из монографий.

Картографирование связей цитирования в антропологических дисциплинах используется с середины 1970-х годов. Для одной из концептуализаций в этой области используется название «волна подражания». Алгоритм построения картосхемы заключается в следующем: 1) отбор наиболее цитируемых работ, 2) анализ частоты цитирований тех статей и монографий, которые ссылаются на вошедшие в первую выборку часто цитируемые труды. «Метафора волны здесь становится очевидной – выброшенная идея или концепция либо, как камень, тонет без всплеска, либо порождает волну цитирований» (2, с. 522). Авторов, распространяющих положения часто цитируемых работ, можно отнести к так называемым мультипликаторам, а связи между ними и авторами наиболее часто цитируемых работ – сильными связями.

Картографирование позволяет также визуализировать междисциплинарные связи и тяготение конкретных авторов к проблематике соседних дисциплин. Здесь логика такова: если автора часто цитируют именно коллеги из соседних дисциплин, значит, его идеи им близки и, стало быть, он сам работает в близкой им проблематике.

«Если рассматривать дисциплину как единое эпистемическое сообщество, то полученная картина цитирований позволяет выдвинуть по меньшей мере две интерпретации современного состояния дисциплинарного знания в российской антропологии. В соответствии с первой можно постулировать глубокий раскол

сообщества на, по сути, две самостоятельные дисциплины – прикладную политическую этнологию, с одной стороны, и этнографическую фольклористику – с другой» (2, с. 523). Вторая гипотеза позволяет предполагать ситуацию перехода дисциплинарного знания в новую конфигурацию знания проблемно ориентированного, с меньшим вниманием к дисциплинарному разграничению в гуманитаристике в целом.

«Сегодня мы становимся свидетелями и участниками четвертой волны в развитии структуры антропологического знания, хотя вести речь об институциональном оформлении таких новых для России направлений, как антропология организаций, бизнеса, спорта, медиа, технологий и науки, моды, досуга, пока еще рано» (2, с. 524).

Характеризуя состояние политической антропологии и этнополитологии, автор считает, что, несмотря на прикладной характер и конкретность многих исследований, удельный вес обобщений, построенных на полевых материалах, остается невысоким по сравнению с анализом статистических сведений, прессы, архивов и других данных не прямых наблюдений. Полевые исследования микрофизики власти и функционирования ее различных видов в специфических институциональных средах могли бы способствовать развитию политической антропологии, как и поворот к современным концепциям политического членства и действия и их изучению.

Анализ развития традиционной этнографии, фольклористики и этнографического краеведения позволяет выделить в этой обширной сфере успешно развивающееся семиотическое направление при сохранении прежнего описательного уровня исследований материальной культуры. Этнографическое регионоведение и компаративистика, включая этнографическое востоковедение, африканистику, сибиреведение, исследования Поволжья, Средней Азии, Кавказа и других регионов мира, также относятся к старейшим специализациям, составляя ядро этнологического знания. Регионалистика в значительной степени основана на данных полевых исследований. Это направление сохраняет богатый потенциал для инноваций за счет документирования, осмысления и анализа бурных перемен в региональных культурных и общественных процессах.

Этносоциология – пограничная между социологией и этнологией дисциплина – в последнее время и институционально, и

идеологически все больше сближается с социологией и отчасти с политическими науками и социальной психологией.

Слабая институционализация городской антропологии в ее российском варианте, по оценке автора, очевидна: в России пока нет исследовательских центров, журналов или университетских кафедр, специализирующихся исключительно на исследованиях и публикациях в этой области. «Вплоть до середины 1980-х годов этнография города в ее советской версии в методологическом и теоретическом отношении практически не отставала от городской антропологии в ее американском варианте, с естественной оговоркой, что у нас эта дисциплина считалась инновационной, а в США в рассматриваемый период – прикладной, без ожидания от нее особых теоретических обобщений» (2, с. 528). Одним из главных направлений развития городской антропологии и социологии в России сегодня стали исследования субкультур, в первую очередь молодежных.

Этнопсихология (исследование межэтнических отношений с позиций социальной психологии, конфликтов, толерантности, нетерпимости, ксенофобии), впоследствии интегрировавшаяся с кросс-культурной психологией (проблемы аккультурации и ассимиляции, адаптации и интеграции мигрантов, культурно-специфическое поведение и телесные практики) в 1980-е годы оформленная институционально как часть этнологии, сегодня представляет собой скорее специфическую часть социальной психологии, в центре внимания которой находятся процессы этнической идентификации, включая исследования этнических стереотипов и культурно-обусловленные паттерны поведения.

Экономическая антропология (изучение традиционных форм обмена, дарения, потребления, экономического поведения) – традиционная, но чрезвычайно малочисленная в рамках российской антропологии субдисциплина, вопреки высокой потребности в соответствующих знаниях у экономистов и общества в целом. К также немногочисленным специализациям, несмотря на высокий общественный запрос, относятся этногендерные исследования – изучение этнических особенностей мужских и женских ролей в различных культурах и обществах, историческая динамика этих паттернов и гендерных прав. Все более востребованной становится субдисциплина и одновременно исследовательский метод – визуальная антропология.

В заключение публикации С.В. Соколовский анализирует представленность антропологического знания в научной периоди-

ке, поскольку профессиональные журналы собирают вокруг себя собственные читательские аудитории, консолидируют пулы авторов и рецензентов и за счет этой деятельности активно участвуют в производстве самого профессионального сообщества. Академическая периодика, таким образом (даже если в ближайшем будущем ее бумажные варианты и отомрут), с ее институтом рецензирования будет оставаться важнейшим каналом научной коммуникации. К числу профессиональных антропологических журналов автор относит около двух десятков периодических изданий, большая часть которых появилась во второй половине 1990-х – первой половине 2000-х годов. Исключительно этнографическим публикациям посвящены только два из них – «Этнографическое обозрение» и «Антропологический форум», и еще два – «Живая старина» и «Традиционная культура» – публикуют работы по фольклористике.

Некоторую информацию к размышлению дает рассмотрение вееров цитирования у журналов, позволяющее увидеть, какие журналы / статьи цитируются в конкретно взятом антропологическом журнале. Именно здесь выясняется, что некоторые из журналов, традиционно относимые к перечню антропологических, оказываются слабо интегрированными в дисциплину в отношении цитирования, и, следовательно, антропологи либо их не читают, либо по каким-то причинам не ссылаются на прочитанные статьи.

Соотнося российскую антропологию с «мировым стандартом» показателей цитирования, автор отмечает малопродуктивность такого подхода в силу серьезных методологических ограничений, обусловленных различиями национальных научных школ. В первую очередь это трудности технического порядка: в международных базах российская антропология представлена слабо, а доступ к этим ресурсам для российских исследователей осложнен из-за высокой стоимости подписки. Тем не менее несколько цифр все-таки приведены. На декабрь 2013 г. в соответствии со статистикой Web of Knowledge всего 179 статей из области антропологии, опубликованные за последние сто лет, набрали больше 50 цитирований (более 100 только 46). Из этих 46 лишь 8 можно условно отнести к социокультурной антропологии, поскольку в этой базе под рубрикой «Антропология» представлена вся так называемая тетрада Боаса, т.е. еще и биологическая антропология, археология и этнолингвистика. Эти данные в полной мере подтверждают заключение автора о «невозможности *кроссдисциплинарного сравнения* по уровню цитирований, в особенности, когда речь идет о биологах и медиках, с одной стороны, и историках и

социальных антропологах – с другой (у первых оно всегда будет заведомо выше из-за размеров сообщества, характера соавторства и числа профильных журналов)» (12, с. 535).

Из специализированных разработок ИНИОН РАН по подготовке новых информационных систем, модернизации и совершенствованию действующих информационных систем следует отметить информационно-поисковый тезаурус по этнологии и антропологии¹, который завершил серию из 11 томов тезаурусов по социальным и гуманитарным наукам, подготовленных на протяжении двух последних десятилетий.

К числу новых информационных продуктов и услуг относится и Проблемно-ориентированная база данных по этнологии и исторической антропологии объемом более 50 тыс. документов (на основе информационных ресурсов ИНИОН, 2014 г.). Это итоговый продукт проекта «Интернет-проект как механизм формирования и развития научного сообщества» (2012–2014), выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН сотрудниками ИНИОН РАН Т.Б. Уваровой и Л.В. Шемберко.

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ. АКТОРНО-СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ ИЛИ НОВАЯ МАТЕРИАЛЬНОСТЬ

Среди немногочисленных специальных работ, посвященных новым направлениям в антропологии, коллективная монография именно под этим названием «Инновации в антропологии» (6), отражает последнюю волну дифференциации отечественного антропологического знания, свидетелями и участниками которой становятся современные исследователи. Хотя вести речь об институциональном оформлении ряда таких новых для России направлений, как антропология организаций, бизнеса, спорта, туризма, медиа, технологий и науки, образования, моды и досуга, пока еще рано, на сегодняшний день в этих областях исследований можно констатировать появление первых диссертационных работ, складывание новых авторских коллективов и выход из печати первых публика-

¹ Информационно-поисковый тезаурус ИНИОН по историческим наукам: В 2 томах. – М.: РАН. ИНИОН, 2012–2014. – Т. 2: Этнология. Антропология / РАН. ИНИОН; ред. Мдивани Р.Р. (отв. ред), Уварова Т.Б. – М., 2014. – 495 с.

ций – отдельных статей и их сборников. К их числу относится и рассматриваемая работа, представляющая новые темы, новые подходы, новые объекты.

В условиях распада российского антропологического общества на несколько специализированных исследовательских сетей с собственными журналами и исследовательскими центрами, по мнению редактора сборника С.В. Соколовского, можно вычленить по меньшей мере два крупнейших исследовательских проекта, приверженцы каждого из которых организуют самостоятельную и отдельную область исследований. Первый из них связан с исследованиями конфликтов и толерантности, межэтнических отношений и способов их правового и политического регулирования, а также с исследованиями нациестроительства (истории национальных движений) и локальных национализмов, наконец, с изучением роли власти в устройении многонациональной империи. «По своей сути и истории своего развития – это имперский проект, восходящий исторически и идеологически к проекту создания советского народа, или, в современной терминологии – российской нации. Обозначение этого проекта как имперского не подразумевает в данном случае критики, но лишь подчеркивает его универсалистское и антикоммунитаристское содержание» (6, с. VI).

Второй проект, помещая в фокус своих интересов культуру, а точнее – культуры с их особенными ритуалами, обычаями, символами, фольклором, – в политическом отношении остается важнейшим ресурсом для местных национализмов и исторически уходит корнями в романтический национализм XIX в. (в российском случае – в идеологию народничества). «Оба эти проекта составляют выраженную специфику российской антропологии, но вряд ли могут рассматриваться как современные или отвечающие уровню развития антропологического знания сегодня. Помимо этого, они ведут в теоретический тупик, уводя российскую антропологию из мира актуальных человеческих практик в интеллектуально спонсируемые ими миры практик “архаического модерна”, войти с которыми в постсовременную экономику знаний оказывается задачей неразрешимой», считает автор (там же).

Российская этнология / антропология отдала дань экзотизации исследуемых объектов, фокусируясь поначалу исключительно на изучении иноэтнических, иноверческих, иноязычных и иносоциальных «Других» (нерусские народы Российской империи, крестьяне, население окраин и т.п.). Сохраняя эту свою приверженность к изучению «Других», антропологи постепенно включали в

орбиту своих интересов более близкие и менее экзотические социальные миры (при этом этнология все более превращалась в социальную и культурную антропологию). Именно так формировались городская антропология, медицинская антропология, антропология профессий, визуальная антропология и ряд других более или менее новых для отечественной исследовательской традиции направлений. Помимо освоения новых методов и подходов потребуются и институциональное развитие новых направлений – создание программ обучения, университетских специализаций, исследовательских центров, журналов и т.д.

Большим интегративным многолетним проектом, реализуемым в серии специальных публикаций и тематических выпусков антропологических журналов (прежде всего на страницах таких журналов, как «Этнографическое обозрение» и «Антропологический форум»), стал проект, получивший общее название «О границах человека и человеческого». Он был выбран как стартовая площадка для реализации разработки конкретных научных тем и направлений, поскольку в нем успешно интегрируются сразу несколько инновационных подходов и областей исследований, включая антропологию науки и технологий, биоэтику, медицинскую антропологию и ряд других. Реализуя этот проект, его авторы исходили из следующих соображений. Антропология как наука о человеке и человечестве *par excellence* вопросом о границах человека и человеческого задается нечасто, обычно оставляя его философам. С появлением новых технологий, коренным образом меняющих нашу повседневность, все смелее внедряющихся в человеческое тело и разум и ставящих в повестку дня проблематику трансгуманизма и постчеловеческого, такое разделение интеллектуального труда все более устаревают.

Созданным в рамках этого широкого исследования авторским коллективам за последние несколько лет удалось реализовать серию микро-проектов и публикаций (в основном в виде тематических выпусков профессиональных журналов и отдельных статей) и познакомить российских антропологов с серией новых для них подходов, тем, проблем, методов и моделей исследования. В их числе можно назвать следующие: тематические выпуски «Медицинская антропология: история, теория, практика», «Новые подходы к исследованию материальной культуры» (2011); «Антропология организаций и сетевых сообществ», «Пищевые предпочтения и конструирование идентичности», «Антропология туризма», «Социокультурные исследования школы» (2012); «Биоэтика, меди-

цинская антропология и антропологическое знание» (2013); «О смертельно серьезном: Антропология смерти в современной России», «Пространство, потребление и идентичности в постсоветских странах», «Стратегии идентификации в Средней / Центральной Азии», «Места силы: конструирование сакрального пространства», «Каннибализм: Итоги, перспективы и контексты изучения» (2014), в подготовке которых приняли участие не только исследователи из различных академических институтов и университетов России, но и коллеги из Великобритании, Германии, Польши, США, Финляндии, Франции и Швейцарии. Всего было опубликовано около 60 статей, общий объем которых превысил 100 п. л. (6, с. 14).

Значительная часть этих публикаций являлась обзорными статьями, знакомящими читателей с современным состоянием исследований в конкретных научных областях и ориентирующими их в существующей литературе. Таким образом, почти каждый из реализованных микропроектов решал сразу несколько задач – ознакомительную (с предоставлением своего рода паспортов новых научных направлений), научно-аналитическую (предоставление новых материалов и методов) и интегративную (международные авторские коллективы способствовали обмену знаниями и содействовали международной интеграции отечественных исследователей).

Коллективная монография (6) продолжает решение этих задач и представляет несколько новых для отечественной исследовательской традиции тем, методов и объектов изучения, позволяя российским антропологам познакомиться с развивающимися в этих областях концепциями и подходами, а неантропологам – лучше понять суть инновационного развития, разворачивающегося сегодня в рамках российской социально-культурной антропологии.

Первый раздел «Антропология и биоэтика» открывает публикация М. Кожевниковой «Гибриды и химеры человека и животного в науке: История и современное состояние исследований». Пересечение границы, отделяющей человека от остальных животных, всегда было волнующей темой. Примеры многочисленных гибридов и химер человека и животного в культуре (мифах, литературе, кино, и др.) показывают, что сама идея «человеко-зверя» не нова. Современная наука делает возможной реализацию образов, которые сопровождают человека уже тысячи лет.

Приведенные примеры исторических и современных опытов показывают, что тема гибридов и химер человека и животного уже несколько веков является привлекательной для ученых, у которых

именно сейчас в руках оказались необходимые инструменты. Обобщая, можно говорить о нескольких уровнях исследований в области создания химер и гибридов человека и животного: это эксперименты на клетках и тканях, на эмбрионах и на живых организмах. Самое большое влияние на изменение понятия человеческой природы в обществе имеют опыты на эмбрионах и живых организмах (как реальные, так и гипотетические). Среди них можно выделить:

- 1) усовершенствование человека при помощи генов животного, создание человека с «добавлением» материала животного;
- 2) добавление генов или органов человека животным, например, для проведения экспериментов или получения тканей организма с человеческими характеристиками;
- 3) создание гибридного организма, классификация которого будет неоднозначной.

Этические проблемы возникают на каждом этапе исследований в области создания «человеко-зверей», начиная с практического уровня, связанного с вопросами законодательства. Речь идет прежде всего об установлении границ экспериментов с гибридами и химерами.

В свете указанных выше вопросов, касающихся как технической и законодательной базы, так и этических проблем, сопровождающих исследования в области создания гибридов и химер человека и животного, а также возможных рисков для общества и для дальнейшего развития человека как вида, обязательным должно стать предоставление данной тематики широкому кругу людей, не являющихся профессионалами в области биоэтики и биотехнологий. Предоставление это не должно носить характера утопии или, наоборот, катастрофического сценария будущего, а стать именно руководством, направленным на инициирование общественных дебатов, которые основывались бы на фактах, а не только на эмоциях. Только таким образом человечество сможет ответственно, сознательно и открыто управлять достижениями современной науки, считает автор.

«Сетевой анализ в антропологии: История и современность» – тема публикации Натальи Богатырь. В современной антропологии успехи сетевого подхода чаще всего связываются, с одной стороны, с прогрессом в исследованиях науки и технологий, более известных как STS, а с другой – с появлением сетевой социальности, стремительным формированием языка и культуры социальных се-

тей, желанием найти адекватные инструменты для их изучения и осмысления (6, с. 36).

С точки зрения исследовательницы, уже в эмпирических исследованиях 1950–1970-х годов развивались концепт социальной сети и связанные с ним понятия. В середине 1950-х годов британский исследователь Джон Барнс определил социальную сеть как совокупность связей, формирующихся между парами людей на основе родства, дружбы и знакомства. Он рассматривал социальную сеть как разновидность социального поля, в котором участники соединены между собой не нормами формальных институтов, а личными связями. В 1960-х годов антропологи активно обсуждали как общие, так и разработанные для конкретных полей инструменты сетевого анализа, с помощью которых можно было тем или иным способом ограничить изучаемую личную сеть.

Ко времени же формирования АСТ (акторно-сетевой теории) сетевые формы организации стали привлекать все большее внимание социальных исследователей. Началось широкое распространение сетевых форм занятости (преимущественно, в сфере торговли), развитие информационно-коммуникационных технологий, рынков удаленного труда и образования, и – главное – формирование глобального феномена, получившего название «сетевой социальности», в котором потерялась прежде четкая граница между «социальным» и «технологическим» (6, с. 48).

В раздел «Новые подходы: Этнология, археология, религия» вошла публикация О. Богатовой «Конструирование сакрального социального пространства эрзянского неоязыческого ритуала». Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта «Конструирование социального статуса и имиджа региональных социумов республик в составе Российской Федерации на примере республик Марий Эл, Мордовия и Удмуртской республики».

Сообщество организаторов и участников воссоздаваемых дохристианских эрзянских ритуалов можно охарактеризовать как новое религиозное движение неоязыческого или «нативистского» характера. Изучение этих феноменов, основанное на данных, полученных методами наблюдения, интервью с руководителями молений, анализ документов (этнографических описаний, молитвенных и песенных текстов, публицистики и исторических документов), включает такие аспекты проблемы, как социальные характеристики современных ритуальных субъектов, критерии выбора ими ритуальных пространств, приписываемые этим пространствам са-

кральные атрибуты, включая дизайн пространственной среды, художественно-символическое оформление, образцы взаимодействия участников друг с другом и объектами культа.

Согласно признанной среди религиоведов точке зрения, ритуальным пространствам обычно приписывается сакральное значение как «места силы» и символического центра мира, в котором осуществляется контакт и происходит обмен сообщества людей энергией с предками и богами, которые легитимируют его лидеров и наделяют их «силой» в виде властных полномочий (6, с. 60).

Проект возрождения «эзрянской веры» первоначально формировался в контексте более широкого политического проекта придания эзрянам статуса этноса-нации, пропагандируемого группой активистов национал-радикального эзрянского движения в Мордовии. Хотя в своем большинстве эзря-народ – продукт советской эпохи, и живет вне религии, всенародное моление «Раськень Озкс» эзрянами воспринимается как национальный праздник, духовный источник. Образ Бога Инешкипаза и народная религия имеет конкретную, осязаемую нить, связывающую с прошлым, и именно в силу этого они востребованы народом, считает автор (6, с. 61). В данном случае происходит «переизобретение» ритуально-символического комплекса, в котором традиционные религиозные практики творчески трансформируются для легитимации современного политического проекта.

Виктор Шнирельман в работе «Археология и религия: Вызовы постмодерна» привлекает внимание к тому, что «современный религиозный ренессанс, создающий впечатление отказа от чаяний эпохи Просвещения и отката назад к “новому средневековью”, ведет к появлению новых, порой довольно неожиданных, проблемных ситуаций и требует выработки новых подходов к их изучению. Детальный анализ этого явления показывает обманчивость такого впечатления – ведь речь идет о современных образованных людях, овладевших достижениями новейшей техники, задумывающихся о судьбах мира и вовсе не стремящихся к полному отказу от благ цивилизации» (6, с. 84). Здесь-то им на помощь и приходят психологические методы, выступающие на поверхности в виде новых религий, религий New Age.

Известно, что почти всякая религия почитает свои святые места, куда периодически отправляются паломники для совершения ритуалов. Остро нуждающимся в этом новым религиям эпохи New Age приходится создавать их практически заново, и сегодня этим занимаются немало энтузиастов. В результате «святые мес-

та», или «места силы», возникают буквально у нас на глазах. Зримой чертой нашего времени стало отождествление «мест силы» с обнаруженными археологами остатками первобытных поселений (Аркаим на Южном Урале, Каменная Могила под Мелитополем, Окунево в Омской обл.) или дольменами (на Черноморском побережье Краснодарского края).

При оценке такого рода явлений возникает ряд вопросов. Как общественность воспринимает археологическую информацию – адекватно или нет? Имеется ли у нее предрасположенность к ненаучным трактовкам археологических открытий, и если так, то где следует искать ее основания? «Иными словами, как именно возникают новые мифы о прошлом, нередко связанные с религией? И связаны ли они только с религией, или в них присутствуют также социальные, культурные, этнические, политические идеи?» (6, с. 88).

Названные проблемы рассматриваются исследователем на примере наиболее известных археологических памятников, снижавших небывалую популярность у паломников. Это уже давно вошедший во все учебники археологии мегалитический Стоунхендж, расположенный в Южной Англии, и городище Аркаим, открытое четверть века назад в Челябинской области. Мало того, Аркаим причисляли к кругу «национальных и духовных святынь», а руководитель археологических исследований Г.Д. Зданович предлагал положить его «в основу национальной идеи России». Даже мэр Челябинска однажды заявил, что «Аркаим – не просто географическая точка, а идея нового видения современной цивилизации» (6, с. 94).

Эта концепция со временем обрастает все новыми фантазиями и самыми странными предположениями. Аркаим отождествляют и с Асгардом, таинственной родиной древнегерманского бога Одина. Истоки этого мифа опять-таки ищут у предков славян, отождествляя их с киммерийцами. Неистовый пропагандист «Русских вед» и «Велесовой книги» А. Асов видит в Аркаиме подтверждение своим фантазиям об участии «славяно-русов» в Троянской войне (там же).

Там возник центр мощного религиозного культа и туда хлынул нескончаемый поток туристов, среди которых видное место заняли последователи учения Рерихов, «арийские астрологи», эзотерики, экстрасенсы, ясновидящие, колдуны, шаманы, народные целители, неоязычники, кришнаиты, шиваиты, огнепоклонники, последователи различных школ магии, а также уфологи, муллы и

просто люди, жаждущие исцеления от изматывающих недугов. «Верования, процветающие на Аркаиме, имеют эклектический характер. Нынешние эзотерики обращаются в равной степени к Иисусу Христу и Богородице, Сварогу и Кришне, Зевсу и Индре, Духам Земли и Сергию Радонежскому и почитают иконы наравне с магическим кристаллом и языческими талисманами. Немало поклонников новой религии носят православные кресты и читают “Отче Наш” на вершине горы Шаманихи. Другие могут тут же читать мусульманские молитвы, а рядом с ними мирно располагаются кришнаиты и зороастрийцы. Некоторые группы имеют смешанный этноконфессиональный состав, и там можно встретить русских, татар, башкир, казахов, российских немцев и даже калмыков» (6, с. 109).

Поражающая специалистов регенерация архаических представлений с их циклическим временем и верой в магические сверхъестественные силы возникла у людей, привыкших мыслить в рациональных категориях, с их паранаучными идеями и терминологией, оперирующей «энергетическими полями», «информационными потоками» и «расовыми эпохами». На стыке всех этих представлений и возникло увлечение «местами силы», где якобы концентрировалась мистическая энергия. А так как считалось естественным, что «мудрые предки» такие места знали и всемерно использовали, то совершенно не случайным оказался интерес к археологическим памятникам, заставший археологов врасплох (6, с. 112).

В раздел «Новые объекты. Городские тела и сантименты» вошли две публикации. Наталия Мазалова в работе «“Опальный принц в империи лотков и пестрой суеты”»: Чувствования горожан в современном Петербурге» анализирует уникальный образ Петербурга, который сложился в русской культуре и менялся в различные исторические периоды. Для исследования “чувственно воспринимаемого” образа современного Петербурга исследовательница обратилась к анализу чувствований горожан. «Термин “чувствования” (устар.) употребляется в широком значении, близком feelings в англоязычной культуре: физические чувства и ощущения, эмоции, переживания, чувства, мнения, взгляды, восприятие. Образ Петербурга создается, прежде всего, на основе физического восприятия (зрения, слуха, обоняния); горожане видят свой город воочию, по телевидению, в социальных сетях, слышат о событиях, происходящих в нем, ощущают особенности его климата, природных условий на уровне физиологических ре-

акций – “чувств тела”. На основе ощущения и восприятия возникает форма чувственного отражения – представление, которое приобретает эмоциональную окраску (“чувствовать”), а затем проходит ментальную обработку (“знать”). В качестве объяснительной модели сложившихся представлений нередко используются существующие мифологические образы или литературные реминисценции» (6, с. 124).

В антропоцентрической перспективе для описания Петербурга в качестве точки отсчета используется человек. Большинство петербуржцев воспринимают Петербург как живой организм или тело: «Петербург живой», «Петербург – город с душой» (ПМА: Мария. Здесь и далее ПМА – полевые материалы автора. – Т. У.) «Петербург, как и любой город с телом и “с душой”, воспринимается как живое существо» (ПМА: Пельшина). Телу приписываются формы и размер: «большое», «стройное», «сухощавое», «красивое», вероятно, эти образы сложились соответствии с архитектурным обликом города. Некоторые петербуржцы воспринимают город если не как антропоморфное создание, то по крайней мере – живое.

В соответствии с представлениями мифологической анатомии петербуржцы выделяют два важнейших элемента города: по мнению большинства, его сердце (центр) – Невский, а жилы (артерии, сосуды) – Нева и ее притоки и каналы (в соответствии с народными представлениями о тождестве вода-кровь). В народной русской мифологии, живой организм функционирует благодаря работе сердца и кровообращению. Некоторые петербуржцы под сердцем Петербурга понимают весь исторический центр: «Сердце Петербурга, как мне кажется, – это остатки его исторического центра: Васильевский остров, Адмиралтейский и Центральный район. Там, в его центре царит особая благодать» (ПМА: Валентина). Как человеческое тело, Петербург наделен жизненной энергией, которая, по народным представлениям, связана с жаром, теплом, огнем. «Несмотря на холодные сильные ветра и морозящие дожди, в нем чувствуется тепло жизни» (ПМА: Иванова).

Несомненно, пол и возраст города в ощущениях современных горожан связаны с мифами о создателе города Петре I: «Город, как Петр I, мужчина средних лет, энергичный, сильный» (ПМА: Макоев) (6, с. 126). Городу приписывают определенные черты характера – «величественный», «мудрый» и пр.; в них, несомненно, также прослеживаются ассоциации с Петром I, в соответствии с идеей которого «Петербург – европейский город, город

воспринимается как “европеец”: Характер сдержанный, нордический, скрытный» (ПМА: Блинова).

Современный Петербург ассоциируется также с двуликим Янусом: одно его лицо – лицо бодрого мужчины средних лет, энергичного, красивого (центр города), это лицо обращено в прошлое; второе – лицо немолодой женщины, изо всех сил старающейся выглядеть молодой и красивой, но с явными признаками тяжелой болезни и даже смерти, это лицо – настоящее всего города и, возможно, будущее. По мифологическим представлениям двуликий Янус связан как с космосом, так и с хаосом, ему свойственны как созидательные, так и разрушительные функции.

В наши дни возник еще один образ Петербурга – «тело, которое подвергается насилию, его “расчлняют”, “уродуют”, “калечат”, “терзают”. Этот образ связан с планомерным сносом старых домов. Город называют “израненным”, “истерзаным”, “изуродованным”, “изувеченным”, “искалеченным»» (ПМА: Богданова). Петербуржец (физическое тело) наделяет город (городское тело) антропоморфными признаками и состояниями, которые присущи ему самому. С другой стороны, город влияет на человека, причем воздействия, которые испытывает город (разрушения, возведение новых зданий в центре города и т.д.), отражается не только на психологическом, но и на физическом состоянии человека: снос старинных зданий вызывает «ком в горле; Петербург – жертва алчности, глупости и равнодушия» (ПМА: Толмачева) (6, с. 133).

«Тело человеческое» и «тело города» находятся в постоянных динамических взаимодействиях: природная составляющая тела города ощущается петербуржцами в наибольшей степени (город, отвоеванный у стихии, сдает ей некоторые позиции). Сознание петербуржцев в отношении климата и природы продолжает оставаться мифологичным. Для объяснения болезненных физических и эмоциональных состояний петербуржцы используют миф о том, что Петербург построен на болоте.

Болото в мифологии – переходная зона между сушей и водой, является одним из пограничных локусов. Для него характерна энтропия – хаос, саморазрушение, но вместе с тем и постоянная способность к выходу из этого состояния. Жители Петербурга на психофизиологическом уровне ощущают постоянные изменения, которые не позволяют находиться в уравновешенном состоянии.

Представления о гибели Петербурга от воды подпитываются результатами околонучных изысканий, публикуемых в газетах и Интернете: если произойдет землетрясение, то возведенная в зали-

ве защитная дамба разорвется. Мифологические представления о возможном потопе связаны и с реальными фактами: данными о глобальном потеплении, таянии ледников. Возможно, одна из важнейших черт хаоса, который характерен для современного Петербурга, – наличие в нем энергии, которая способна привести к его возрождению, заключает автор (6, с. 137).

Игорь Морозов в работе ««Идеальные тела» в контексте идентичности горожанина», основанной на исследовании, выполненном в рамках проектов РГНФ ««Живое» и «Неживое» в этнографических, культурно-исторических и языковых контекстах» и «Кризис идентичности на постсоветском пространстве. Кросс-культурный анализ», анализирует «городские тела» сквозь призму междисциплинарного анализа.

Идентичность горожанина определяется не только его принадлежностью к тем или иным социальным, профессиональным или социовозрастным группам, но и окружающей его городской средой, транслирующей, в частности, образы “идеальных тел”. При этом в качестве модели используются как “живые”, так и “неживые” тела. Автором уделено особое внимание именно “неживым телам” в городском пространстве, призванным поддерживать идентичность горожанина. Часть этих объектов (памятники, парковая скульптура, мемориальные объекты) включена в инфраструктуру города и является неотъемлемым элементом городского ландшафта.

«Говоря о “городском теле”, мы будем иметь в виду определения “тела”, принятые в разных научных дисциплинах. Один и тот же объект может предстать в разных “телесных инкарнациях”, где “тело” может рассматриваться и как материальный объект, и как часть пространства, ограниченная замкнутой поверхностью, и как физическая оболочка живого существа, зачастую противопоставляющаяся его нематериальным атрибутам, таким, как душа или (само) сознание. Понятно, что понятие “телесность” в данном случае может охватывать как коллективные, так и индивидуальные тела в их разных конкретных воплощениях» (6, с. 141).

Автором была проанализирована выборка примерно из 350 объектов, зафиксированных в ходе полевых исследований и поездок в различные города России и Европы и представленных на различных интернет-ресурсах, а также в личных профилях пользователей социальных сетей. Заметим, подчеркивает исследователь, «что обобщению способствует “вирусный” характер распространения некоторых типов памятников и городской скульптуры, ко-

торыми насыщается в последние два десятилетия российское городское пространство. Изученная выборка позволяет выделить по формальным признакам четыре основных группы памятников и скульптур: антропоморфные, зооморфные, предметные и абстрактные (нефигуративные). Каждая из этих групп может быть разбита на подгруппы на основе семантических признаков» (6, с. 146).

Итак, «городское тело» как некая субъектная и сверхсубъектная сущность может проявляться как в «коллективном теле», так и в «неживых телах», в частности в городских памятниках и парковой (контактной) скульптуре. Современные формы памятников изначально предназначены для активного контакта со зрителем, для вовлечения его в игру с культурными и социальными смыслами, создания психологических установок вовлеченности, повышения самооценки, в конечном счете – обретения особой идентичности «горожанина», делает предположение автор.

Во втором выпуске серии «Инновации в антропологии» под названием «Российская антропология и “онтологический поворот”» анализируются новые концепции в исследованиях материального мира, в частности, применение акторно-сетевой теории (actor-network theory ANT, иногда обозначаемой русской аббревиатурой АСТ) и материальной семиотики в контексте исследований материальной культуры. В фокусе внимания авторов оказываются новые объектно ориентированные концепции, утверждающие взгляд на социальность как взаимодействие людей и вещей в рамках объемлющих их сетей отношений. Главами книги стали дополненные и расширенные версии докладов, впервые представленных на секции «Новая материальность и исследования материальной культуры» XI Конгресса антропологов и этнологов России, прошедшего в июле 2015 г. в Екатеринбурге. Целью работы секции была оценка перспективности новых подходов в исследованиях материальности для изучения материальной культуры в этнографии и археологии. Участники секции были приглашены поразмышлять над такими проявлениями материальной среды, как нарастающая скорость ее трансформаций, «активное вмешательство» в решения человека, его телесность и повседневное поведение, не слишком часто привлекающими внимание российских антропологов при их несомненном интересе к хозяйству в его материальном измерении и классической этнографической тетраде «пища – одежда – жилище – транспорт».

В разделах «От редактора» и «Вместо предисловия» С. Соколовский характеризует понятия «онтологический пово-

рот», «теории вещей» и «этнографии материальности». Революция в концептуализации предметного мира, иногда именуемая «онтологическим поворотом», пока мало отразилась на исследовательской практике российских этнографов, хотя «уже три десятилетия в недрах сразу нескольких дисциплин формировались контуры нового подхода, получившего впоследствии такие не вполне прозрачные для читающего по-русски имена, как “акторно-сетевой подход”, “онтологический поворот”, “спекулятивный поворот”, “объектно ориентированные исследования”, “новый материализм”, “материальная семиотика”, “новый эмпиризм”, “поворот к материальному” или даже “неоанимизм”, “французский поворот” и “симметричная антропология»» (11, с. 18).

Что же произошло в 1980-е годы, что дало основание для рассуждений о повороте социальных наук к онтологической проблематике, материальности и миру вещей? В каких дисциплинах и сообществах это случилось, и что могло стать побудительными мотивами, причинами или толчками к такому повороту? – задается вопросом автор. Большинство комментаторов этого поворота сходятся во мнении, что у его истоков стояла либо оплодотворенная философскими идеями антропология, либо вдохновленная антропологическими открытиями и находками философия. «Так или иначе, как только речь заходит об этих истоках, они увязываются с именами представителей именно этих двух почтенных профессий. Грегори Бейтсон, опираясь на идеи Канта, Юнга и Р.Дж. Коллингвуда, пожалуй, первым из антропологов сформулировал положения, весьма близкие к принципам акторно-сетевой теории, в том числе – об имманентности разума экосистемам, единстве организма и окружающей среды» (11, с. 24).

«Онтологически ориентированные» антропологи сталкивались с иными оппонентами, главным образом, в лице представителей так называемого лингвистического, интерпретативного или семиотического поворотов, редуцировавших разнообразие миров к различиям интерпретаций или точек зрения (перспектив) на единственный, по их мнению, мир, с одной стороны, и когнитивной антропологией как дисциплиной, преследующей поиск универсалий, – с другой. Реакция на попытки редуцировать культуру к системе символов, интерпретаций или тексту были разнонаправленными и оформились первоначально как прагматический поворот с его критикой дискурса. Однако попытки философов исключить кантовский схематизм как посредника между человеком и реальностью и картезианский дуализм человеческого разума и мира,

превращающих любое исследование культуры в эпистемологическое предприятие, не могли не содействовать становлению онтологической проблематики и в рамках антропологии, считает исследователь.

Материальным этот поворот стал в том смысле, что привилегированными объектами исследования оказались уже не столько дискурс или взаимодействия между людьми, сколько артефакты и материальность в целом, включающая также и природные объекты окружающей среды (отсюда значимость экологической проблематики, например, для Дескола и Латура). Именно отказ от репрезентационизма – идеи о том, что разница в представлениях или верованиях объясняет различия между человеческими сообществами, разделяемой как «интерпретативистами», так и «когнитивистами» – стал основой разнообразных попыток повернуться лицом к самой реальности.

В более широком плане объединяющим основанием, охватывающим всех представителей «онтологического поворота» из разных научных дисциплин, стала критика модернистского проекта в целом с его оппозициями разума и тела, природы и культуры, субъекта и объекта, живого и косного (11, с. 28).

Какое место в этой критике заняли социальные науки и, в частности, антропология? Обнаруживается ли здесь какая-то специфика? Ретроспективный анализ позиций антропологов, проявивших интерес к онтологической проблематике, позволил отметить наличие у них нескольких типичных установок: «1) внимание к наиболее абстрактным категориям культуры (таким, например, как личность, отношение, власть, свойство, процесс, вещь и т.п.); 2) особое внимание к локальным концептам и их последующей интеграции и использованию в антропологической теории (примеры: тотем, табу, каста, кула, мана, калым, шаман, барака и т.д.); 3) отрицание репрезентационизма и натурализма; 4) принятие гипотезы распределенного разума (extended mind)» (там же).

При этом вполне понятно, что первые две установки реализовывались в практике полевой работы задолго до появления рассматриваемого здесь обращения к онтологической проблематике, но обрели новое содержание в его контексте. Кризис репрезентационизма и критика репрезентации обычно ассоциируется с критикой онтологических оснований понятия культура в том виде, в котором оно существовало в позитивистской антропологии, а также с крахом так называемых больших теорий или метанарративов,

призванных объяснить культурное многообразие человечества и особенности его эволюции и прогресса (11, с. 29).

В фокусе внимания антропологов и археологов оказывались далеко не все ипостаси вещей и вещиности. Чаще всего в него попадали социальная, религиозная и историческая ценность вещи. В экономической антропологии эти стороны дополнялись или замещались вниманием к потребительской (товарной, обменной) ее ценности, а в антропологии экологической – к инструментальной или утилитарной ценности. В последнее время к этим аспектам добавился и анализ исследователями из числа антропологов и археологов эстетического измерения. Сегодня можно говорить о появлении и развитии в антропологии и собственно материологического анализа вещей как попытке изучения вещи не в качестве абстрактного представителя типа (сравнительно-типологический подход) или отражения социальных отношений и идеологических представлений (марксистские концепции материальности и семиотический подход), но в качестве конкретного и уникального материального объекта. В последнем случае вещь, кажется, впервые выступает не как часть материальной культуры, но как уникальный предмет утвари, одежды или мебели сама по себе, во всем ее перцептивном своеобразии и эмоциональной наполненности, как субъективная или индивидуальная ценность, как ценность-в-себе и для-себя (11, с. 30).

Первый раздел «Новые подходы. Поворот к вещам в археологии и антропологии» открывается статьей Д. Барина «О чем молчат вещи». Как считает автор, социологи перехватили у антропологов то, что до сих пор служило одним из маркеров, разделяющим эти дисциплины, – исследования материальной культуры. Предложенная социологами «объект-центричная перспектива» уравнивает в правах субъект и объект, человека и вещь, что приводит в итоге к неактуальности прежнего этнографического дуализма – материальной и духовной культуры (11, с. 40–41). Взамен этого на передний план выдвигается взаимодействие двух субъектов – сообщества людей и сообщества вещей.

Возвращаясь к этнографии, можно отметить, что «исследования материального в середине XX в. как у нас, так и за рубежом обычно строились на позитивистском допущении, что вещи “не врут”, поскольку являются “документами эпохи”, способными “объективно” описывать реальность» (11, с. 48).

Этничность, помимо профессионального и языкового измерения, наконец-то получила материальное воплощение, а музей на

протяжении всего XX в. стал играть роль своего рода «якоря» этнографии как самостоятельной дисциплины. «Скрупулезное изучение должно лишь заставить вещи “говорить”, выявить “истинный” смысл, объективный и неизменный. Что важно, материальность вещей рассматривается как мостик между репрезентацией и “реальным миром”. Традиционно “объективный материал” привлекался для прояснения довольно ограниченного круга вопросов, который, в частности, был очерчен в свое время в известной статье С.А. Токарева» (11, с. 52). В сферу интересов этнографов преимущественно входили проблемы этногенеза и родства народов, культурных контактов и торговых связей, зависимость предметов материальной культуры от природной среды и социальной структуры общества, взаимосвязь материальной культуры с религиозными верованиями и обрядами и искусством и т.д. Вещь продолжала рассматриваться как надежный источник информации, поскольку значение ее мыслилось устойчивым и неотделимым от нее самой. В этом усматривается неявное игнорирование “телесности” вещи (в терминах С. Пирс), она рассматривается лишь как зеркало социальных явлений, а собственно ее материальность остается за скобками. Этнографа вещи интересуют не сами по себе, а в их отношении к людям.

Е. Трубина в статье «Социальная антропология между материальностью и деятельностью: Об активности субъектов и объектов» привлекает внимание к тому, что «сложные соединения материальных и социальных сетей исследователи сегодня находят повсюду. Популярность “реляционности” как принципа анализа разного рода “ассамбляжей” – и дань академической моде, и признание нарастающей взаимосвязанности мира. Изменившиеся представления о материальности и деятельности выражаются сегодня в исследовательской готовности наделять качествами активности, деятельности, перформативности широкий спектр природных, культурных, технических, т.е. “нечеловеческих” объектов» (11, с. 76). «Поворот к вещам» противопоставляется произошедшему ранее «повороту к языку» и мыслят его как альтернативу традиционному метафизике и социальной теории, разделявшим идеальное и материальное, субъективное и объективное.

«Идет речь о ко-конструировании людей и вещей, активно используются термины, указывающие на самые различные виды связей (“пересборка”, сети, объединяющие материальных и нематериальных агентов), что рождает вопросы о том, какие аргументы этот новый интерес к материальности добавляет к тому, что стало

очевидным века назад: и социальная жизнь, и существование каждого человека зависят от материальных вещей» (11, с. 77).

Говоря о стыках между АСТ и антропологией, автор высказывает сомнения, способна ли АСТ сама по себе либо проникнутые ею антропологи интересно ответить на вопрос, что специфичного в том, как с вещами обращаются и как их «оживляют» сегодняшние люди. Аргументы антропологов (Наваро-Яшин, Стокинг, Миллер), либо сформулированные до появления акторно-сетевой теории и нового концептуального интереса к материальности, либо полемизирующие с ними, автор оценивает как аналитический проект современной антропологии, который точнее следует ее установкам, потому что стремится исходить из допущений, что люди по поводу вещей состоят в социальных отношениях и что эти отношения – богаче, нежели «трансляция» и «посредничество», описываемые акторно-сетевой теорией. «Одна из причин этого, как считает исследовательница, состоит в том, что антропология встроена в длинную и противоречивую историю доминирования одних культур над другими. Нарочито нейтральная по отношению к любым видам доминирования (кроме своего собственного), акторно-сетевая теория справедливо кажется учебным оторванной от истории» (11, с. 102).

Е. Вдовченков, оценивая обращение к АСТ в российской антропологии (доклад «Социальная антропология и новая материальность: В поисках новых подходов»), считает, что поворот пока не состоялся. Что же касается российской археологии, то она его совсем не заметила, считает автор. «На данном этапе, используя традиционные методы, типологический, функциональный и семиотический подходы, археология и дальше может развиваться экстенсивно – за счет расширения источниковой базы – очень долго», считает исследователь (11, с. 108).

В раздел «Новые темы. Новая материальность и исследования материальной культуры» вошли доклады М. Загудуллиной «Шариковая ручка и надграмотность: О возможностях акторно-сетевой теории в анализе медиатизированной повседневности», а также И. Поправко и И. Чалакова «Утратить небо – потерять традиции: Привязанность и идентичность у астрономов и оралманов» (оралманы – казахи-репатрианты из Китая, куда их предки переселились в первой трети XX в. – Т. У.).

В разделе «Новые объекты. Транспорт как аeteur-reséau» доклады «Космополитика имплицитных инноваций» (автор А. Кузнецов) и «Вегикулярные маркеры и социальная коммуника-

ция в “потоке”» (автор Т. Щепанская) выполнены как кейс-стади с применением методологии акторно-сетевой теории. В последнем автомобиль рассматривается не только как техническое средство мобильности, но и ее символическое выражение. Автор рассматривает один из аспектов функционирования автомобиля как вещи: декоративные дополнения, которые меняют его облик под влиянием знаковых и – шире – коммуникативных функций. Рисунки и разнообразные украшения на автомобилях привлекли внимание исследователей как проявление экспрессивного (в отличие от технологического) аспекта комплекса путешествий и транспорта Их рассматривали как образцы современного городского фольклора, народного искусства (popular art), как его особый вариант – вегикулярное искусство (vehicular art). Этим термином обозначают не только различные формы декорирования средств передвижения, но также и арт-объекты, сделанные из корпусов и других частей автомобилей.

Общим заключением стал последний раздел книги «Онтологический поворот и исследования материальной культуры», написанный С. Соколовским. Автор обращает внимание, что «частота использования таких ключевых слов, как материальность, онтология, STS и Латур, продолжает и сегодня расти по экспоненте. Именно они оказываются маркерами того исследовательского поля, которое в социальных науках, включая антропологию, стало принято называть “объектно ориентированными исследованиями”».

Сам этот поворот, по замечаниям многих из его комментаторов, внутренне неоднороден, слагается из многих, вполне самостоятельных направлений, каждое из которых имеет собственную историю и точки соприкосновения с другими в рамках широкого поля объектно ориентированных исследований. «Практически у каждого из таких направлений имеется и собственная более или менее продуманная онтология (концепция реальности), так что вместе они составляют своего рода плюриверсум – совокупность различных миров, обслуживаемых соответствующими им мировоззрениями и языками, на которых эти миры описываются» (11, с. 258). Отсюда понятно, что комментаторы этого поворота имеют дело со множеством существенно отличающихся позиций и концепций, условно группируемых в одну категорию на единственном основании – новом обращении к фундаментальным основам бытия и переосмыслении имевшихся в прошлом, но не всегда в необходимой степени отрефлексируемым дисциплинарным онтологиям. Объединить под одной крышей столь разнородные движения, счи-

тает С. Соколовский, может поиск «полезности» этих подходов для изменения сегодняшней ситуации, сложившейся в исследованиях материальной культуры, привлекающей все меньшее число специалистов среди российских антропологов.

Чем акторно-сетевая теория и близкие ей подходы в рамках онтологического поворота в социальных науках и гуманитарных дисциплинах могут помочь антропологу, археологу, историку или социологу в их концептуализации социального и материального? «Не достаточно ли нам структурно-семиотического подхода, и без того удваивающего материальный мир, расщепляя его на вещи в их материальной и знаково-символической ипостасях? Впрочем, замечает автор, что было бы неверно понимать актантность вещей как еще одно – третье – измерение в дополнение к материальному и символическому или знаковому. Исключительное внимание к гетерогенным связям, в которые с точки зрения материальной семиотики оказываются вовлеченными на равных люди, артефакты, животные, растения, объекты неживой природы, тексты и образы, позволяет обнаруживать необычные феномены, дотоле не привлекавшие внимания исследователей, а также необычных “героев” в необычных местах» (11, с. 294).

Проблематика гибридных тел, включая материальные ансамбли, в которые человеческое тело входит как их составная часть, или материальные объекты, становящиеся частями человеческих тел, разумеется, разрушает четкие границы того, что традиционно полагалось в этнографии как «материальная культура», но одновременно и подталкивает к реконцептуализации этого базового для этнографов понятия. «Реляционный ракурс и сознательное методологическое упразднение различий, признаваемых в традиционной онтологии, позволяют отслеживать движение импульса в сети, трансформацию сил, непредвиденные эффекты действия, одним словом – рассматриваемый подход представляется действительно эвристическим методом, позволяющим увязать эффективность и сбои, успех и провал конкретных планов и программ как эффекты конкретных сетей» (11, с. 295).

Постулируемое в этом подходе онтологическое равенство объектов имеет своим очевидным следствием упразднение дисциплинарных границ и синтез научных дискурсов, имеющих непосредственное отношение к отношениям и объектам в рассматриваемой сети, которые в более традиционных дисциплинарных подходах из-за существования междисциплинарных барьеров выглядели как мало между собой связанные. «Одним из уроков, ко-

торый может извлечь этнография материальной культуры из рассмотренных выше подходов, – расширение своего предмета за рамки так называемой традиционной культуры и включение в него “новой материальности”, упразднение жесткого размежевания между культурой и природой и чувствительность к гибридным формам, в которых эти оппозиции модерна оказываются сложным образом соединенными или сплавленными воедино. Наконец, внимание к актантности вещей – их способности программировать поведение человека, а не только быть запрограммированными на осуществление конкретной функции, тоже выступает как новая для этнографов, специализирующихся на изучении материальной культуры, и заслуживающая их внимания характеристика» (11, с. 298).

Станут ли применять эти принципы в своей полевой работе российские исследователи материальной культуры (археологи, антропологи, этнологи) за рамками STS и городской этнографии, где они уже используются, покажет время, заключает исследователь.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ: АНТРОПОЛОГИЯ В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ. НА ПУТИ К НОВОЙ АНТРОПОЛОГИИ

В качестве заключения хотелось бы представить еще один «образ» современной антропологии, который предложил в лекции для студентов и преподавателей философского факультета МГУ известный специалист по историко-культурной антропологии профессор Свободного университета Берлина Кристоф Вульф. Расширенный и доработанный вариант выступления был опубликован в серии «Лекции зарубежных профессоров на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова» (27).

Автор показал историю становления и развития антропологии как междисциплинарного знания, в котором под влиянием глобализации возникли совершенно новые горизонты и задачи исследования человека и его поведения в разных культурах. К. Вульф считает свою статью вкладом в интенсивно ведущуюся в последние годы дискуссию о самопонимании антропологии, связывая его с развитием антропологического мышления в Европе XX в., в первую очередь в Германии, где он и проводил свои исторические, этнографические и философские исследования, основа-

нием которых послужили эпистемологические традиции нескольких дисциплин. «Самыми важными были исторические науки, этнология и философия, а также социология, психология и литературоведение» (27, с. 11). После утраты обязательности абстрактной антропологической нормы, в центре которой находились представления, образы, ценности и нормы европейской культуры, историко-культурная антропология является попыткой исследования антропологических феноменов в условиях глобализованного мира, считает ученый.

К. Вульф считает, что с потерей значения так называемых нормативных антропологий или жестких стандартов, регламентирующих проявления телесности, центральным объектом антропологических исследований стало тело с его рождением и смертью, которое является как продуктом, так и действующим лицом социализации и вхождения в культуру. «Человеческое тело является результатом множества миметических процессов, при которых происходит не простая имитация, а активное присвоение культурного знания. В этих миметических процессах происходит создание, передача и трансформация культуры. При этом центральную роль играет перформативность тела, телесные инсценировки и представления» (27, с. 17).

Ввиду процесса фрагментации наук главная задача историко-культурной антропологии заключается в том, чтобы привнести свой вклад в понимание и процесс самопонимания людей в разных регионах мира. Для исследования человеческих обществ и культур используются как диахронные, так и синхронные методы, среди которых особое значение сохраняют полевые исследования с их количественными и качественными данными. В силу своего трансдисциплинарного характера многие антропологические исследования преодолевают границы традиционных дисциплин и получают новые знания с помощью новых постановок вопросов, новых предметов исследования и методов. Антропологический подход не сокращает, а увеличивает комплексность знания о человеке, подчеркивает К. Вульф.

В качестве «названия дисциплины» антропология не наследуется из античности, а является новообразованием, описывающим поворот мышления в сторону самого человека, что происходит в XVI–XVIII вв. Впервые в качестве названия книги понятие «антропология» использует Галеаццо Капелла в 1533 г. «Его работа состояла из трех частей: в первой описывалась честь и ценность мужского пола, во второй – притягательность женского пола, в

третьей – страдания человека» (27, с. 19). В этот период происходит постепенное отмежевание от теологических комплексов и идей и переориентация на человека как индивидуума. С развитием гражданского общества и философии Просвещения антропология становится знанием о человеке.

В отличие от Иммануила Канта, Иоганн Готфрид Гердер и Вильгельм фон Гумбольдт раскрыли исторический характер культурной антропологии и таким образом определили важные перспективы для сегодняшней антропологии. Наряду с признанным «основателем» американской антропологии Францем Боасом, немецкие философы имели огромное влияние на развитие этой дисциплины в Соединенных Штатах. Для Гумбольдта, кроме того, целью антропологического знания было не только получение новых данных о человеке, но и инициирование образовательных процессов с целью совершенствования человеческой природы.

Историко-культурная антропология является результатом научного подхода, исходя из которого исследуются проблемы разных времен и культур. Исследования могут осуществляться в рамках различных научных дисциплин, таких как педагогика, история, литературоведение, языкознание, социология и психология, причем значительная часть этих исследований имеет тенденцию перейти в трансдисциплинарность, основанную на историко-герменевтических подходах интерпретации текстов, методах качественных социальных исследований и трудно поддающуюся превращению в метод философскую рефлексию (27, с. 23). В процессе сложного взаимодействия исследовательских методов и подходов разрабатываются новые парадигматические конструкции сочетания науки, литературы и искусства для оценки явлений, выходящих за рамки национальных и культурных границ.

К. Вульф уделяет особое внимание важнейшим «парадигмам антропологии». Включение антропогенеза как результата необратимого материального саморегулирования жизни в круг проблем антропологии означает принятие парадигмы эволюции, центральным измерением которой выступают время и история.

Для философской антропологии центральным вопросом является вопрос об особом характере природы человека среди других живых существ. При этом представители философской антропологии часто не замечают, что созданная ими категория «обобщенный человек» является абстракцией, которой нет в историческом и культурном мире, но которая создает впечатление, что

человек существует за пределами своих исторических и культурных воплощений.

Исследование антропологических тем в рамках исторических наук, например как во французской школе Анналов и возникшей на ее идеях истории менталитета, положили начало переориентации историографии. «В Германии антропологические темы и постановки вопросов разрабатываются в рамках исторического культуроведения, исторического исследования семьи, исследований женской и гендерной проблематики, а также в рамках истории менталитета, повседневной и микроистории. Тематический спектр простирается от метода кейсов к истории конкретных человеческих жизней, через локальную и региональную историю и заканчивается историей менталитета и историко-культурной антропологией» (27, с. 29).

Культурная антропология, или этнология, также дает антропологии важные импульсы. Изучая гетерогенность культур, этнологические исследования дополняют культурную антропологию. Этнографические методы, разработанные на основе «участвующего наблюдения», применительно к своей и чужой культуре позволяют проследивать пересечения, смешения и культурные ассимиляции глобального, национального, регионального и локального характера.

Разные антропологические перспективы с присущими им методами и проблематикой в совокупности образуют историко-культурную антропологию, но не в качестве самостоятельной научной дисциплины или замкнутой исследовательской области. С этих позиций под руководством автора выполнен трансдисциплинарный и транснациональный проект «Логика и страсть».

Название этой серии исследований указывает на напряженное соотношение тела и духа, которые по-разному оценивались в процессе развития цивилизации. Во взаимосвязанных проектах, выполненных в 1980-х – начале 1990-х годов, участвовали более двухсот ученых, представлявших более двадцати дисциплин и более десяти стран (27, с. 37).

Долгое время казалось, что опасность для человека исходит от тела и его недостатков, и поэтому его необходимо дисциплинировать и совершенствовать. Сегодня, полагает К. Вульф, растущая опасность исходит от логики. В качестве главных проблемно-тематических блоков были выделены следующие: возвращение тела и исчезновение ощущений, погасшая душа, священное, видимость прекрасного, судьба любви, умирающее время, молчание.

В истории человечеством были выработаны разные «фигурации» тела. Целью фигурации, зачастую с помощью насилия, как физического, так и символического, является редукция многообразных форм тела к однозначному и полезному для общества индивидуальному телу. Господство над людьми или их телами проявляется в формах организации человеческого труда, в областях сексуальности и истории болезней (27, с. 39). В ходе истории снова и снова появлялись различные представления о теле, что доказывает, что не существует тела как природной «субстанции», как «убежища чувственности», «гаранта аутентичности». Такие видимые «природные» характеристики тела зависят от истории и общества так же, как и его невинность, греховность, эстетическое значение и т.д.

Ощущения тела также становятся темой исторической антропологии. Они дают человеку чувственную уверенность в присутствии мира и самого себя и таким образом участвуют в передаче осмысленной информации. «Ощущение собственного присутствия в чувственной реакции на мир является предпосылкой человеческого самосознания, оно посредничает между телом, субъектом, и миром, объектом. В этом процессе опосредования ощущаются изменения и непрерывность» (27, с. 41). С усиленной функционализацией нашего взгляда глаз становится главным, осмысляющим органом чувств нашей культуры, функция контроля и самоконтроля которого приводят к ограничению его многообразия. С помощью техники и управления создается плотная сеть контроля, в которую заключается мир видимого и вместе с ним видящий человек (27, с. 45).

С онтогенетической точки зрения слуховые и двигательные органы чувств являются первыми развившимися органами чувств. Слух является предпосылкой понимания и речи. Слух – это социальный орган чувств. Ни одно сообщество не возникает без того, чтобы его члены не научились слышать друг друга.

По сравнению со зрением и остальными органами чувств, такими как осязание, вкус и обоняние, в отношении которых индогерманские языки странным образом остались «немые», слух занимает среднее положение. Вместе с переходом от устности к литературе и формам «второстепенной устности» под влиянием новых СМИ происходят глубокие изменения слуха (27, с. 49). Органы чувств до сих пор являются фундаментом уверенного использования тела; они подлежат дальнейшим исследованиям.

Тема «погасшей души» связана с Иным тела, с самого начала выведенного из доступа разума. У души нет субстанции, она не материализована. Она указывает на пустоту внутри человека и природы, которую нельзя наполнить, которая остается открытой и будоражит воображение. Душа указывает на внутренний душевно-духовный интерьер человека: не во внешнем мире, а в душе можно найти божественную правду (27, с. 53).

В Новое время наряду с представлениями о космическом характере души вырабатываются представления о ее индивидуализации. Религиозная душа становится местом моральных сражений; христианство контролирует чувства. Слежение за душой становится контролем за индивидом, инструментом его подавления и притязаний государства и церкви. Против этого выступает Просвещение с характерной для него идеей автономности, для воплощения которой необходимо применить разум и науки.

Посредством тела процесс развития цивилизации «записывается» в душе. Функционирующее тело является гарантом функционирующей души. Тело становится мерой и выражением психосоциальной жизни. Целью развития человека теперь является не чистая душа, а чистое тело и его самоутверждение. Самореализация происходит через переоткрытие тела. Имманентность тела заменила трансценденцию души (27, с. 55).

Проблемы соотношения души и тела обычно связаны с вопросами религии, священного, сакрального. В последние годы неожиданными стали актуальность религии и распространение профанной сакральности. Даже в современном обществе, где священное не имеет четкого определения и понимание его многозначно, оно связывается с закономерностями и переломными моментами человеческой жизни, вызывая чувство потрясения и ужаса.

Прекрасное также одновременно потрясает и устрашает. Вопреки получившей распространение эстетизации мира, зачастую возникает только «видимость прекрасного». Уже в Античности красота указывает на свое Иное: на ужас, сумасшествие, смерть. Обратной стороной прекрасного могут выступать неупорядоченное, страшное, пустое (27, с. 63). Двойная обратная природа присутствия и пониманию любви. «Любовь – результат определенных культурных условий. Она зависит от мифов общества, его риторики и социально контролируема» (27, с. 67).

В теме «время» растущее знание сопровождается растущим незнанием. «В силу изменившихся сегодня представлений о времени напрашивается задача заново описать историю космоса, при-

роды и человека. Принятые периодизации кажутся произвольными и уже не соответствуют комплексности современного осознания времени. При этом придется внимательнее учитывать одновременность неодновременных и неодновременность одновременных событий. Такая перспектива, всерьез учитывающая множественность времени, определяет появление нового комплекса наук о человеке, требующего трансдисциплинарного подхода» (27, с. 67).

Культура молчания мало развита в европейской традиции в отличие от стран Востока. В западной традиции молчание часто считается отсутствием компетенции и, в отличие от речи, воспринимается как признак пассивности и слабости. Вместе с тем к культуре молчания относятся почитаемые места: храмы, помещения, предназначенные для художественной и интеллектуальной деятельности (театры, музеи, библиотеки). «Молчание – двойная нулевая точка языка, из которой происходит говорение, и в которую говорение переходит» (27, с. 75).

Если в исследовательском поле «Логика и страсть» речь шла об историко-антропологическом исследовании центральных тем европейской культуры, то цель проекта «Человек и его культура» заключалась в том, чтобы реконструировать в ста понятиях современное отношение человека к миру, к другим людям и к самому себе и отразить это в трансдисциплинарной антропологической перспективе. Инвентаризация антропологического знания проводится по семи тематическим областям: космология, мир и вещи, генеалогия и пол, тело, среда и образование, случайность и рок, культура.

Знания, полученные в каждой из тематических областей, вызывают так много вопросов, что вместе с ними всегда растет объем нашего не-знания. Это приводит к пониманию того, что человек сам для себя продолжает оставаться загадкой. Важную роль в этой ситуации играют исследовательские интенции и выбор тем, состояние источников и выбор методических подходов.

Миметические подходы к миру К. Вульф выделяет особо, подчеркивая, что способность к миметической деятельности является антропологической. В миметических процессах происходит уподобление другим людям или мирам, будь они реальными или вымышленными. Еще Аристотель и Платон видели в миметисе особенность человека, отличающую его от всех других существ, раскрывали его роль в воспитании и формировании людей.

«Миметические процессы содержат рациональные моменты, но не сводятся к ним. В них человек выходит за свои пределы,

уподобляется миру, у него появляется возможность привнести внешний мир в свой внутренний мир и выразить его. Миметические процессы приводят к приближению к объектам и к Другому и являются, тем самым, необходимыми условиями понимания» (27, с. 89).

Миметические процессы имеют важнейшее значение для сохранения и изменения культуры, вместе с тем им принадлежит центральная роль в социальном мире. Фундаментом для исследования миметических основ социальной деятельности является материальное телесное движение в повседневной жизни, играх, ритуалах. Несмотря на самостоятельность и автономность действий человека, он ориентирован на других людей и другие миры. При этом другие люди редко воспринимаются как телесно существующие личности, напротив, их личности рассматриваются на уровне абстракций, норм, правил, законов, ролей, рациональных решений. В социальных науках общественное действие осуществляется преимущественно в головах индивидов.

В двенадцатилетнем этнографическом исследовании, примыкающем к работам по миметической деятельности, исследователь со своей командой эмпирически исследовал роль ритуалов и ритуализации в семье, школе, группах по интересам и массмедиа в Берлине. В центре исследования была школа приблизительно с тремя сотнями учеников, для половины которых немецкий язык был родным, а другие представляли до двух десятков мигрантских сообществ. Данная школа является школой-моделью ЮНЕСКО и известна своей реформаторской педагогической традицией. В некоторых случаях были дополнительно привлечены подростки из окружения школы, что расширило характер метода кейсов.

В качестве главных результатов исследования автор выделил следующие.

1. ***Ритуалы и ритуализация*** играют главную роль в воспитании, образовании и социализации детей. Они структурируют жизнь и помогают детям включиться в социальный порядок. В повседневных ритуальных взаимодействиях между родителями и детьми происходит усвоение гендерной принадлежности и усваиваются гендерные роли. Ритуалы представляют социальную память таких сообществ, как семья или группа ровесников.

2. ***Перформативность педагогических практик*** действует так же, как ритуалы и ритуализация во всех областях социализации. Исследования в начальной школе показывают, что дети во время большей части уроков преследуют свою собственную про-

грамму обучения. Подобные ситуации возникают, прежде всего, когда на уроках есть возможность проявить собственную инициативу, особенно если педагоги ее поощряют и развивают.

3. *Миметическое обучение как культурное обучение* обеспечивает инкорпорацию образов, представлений о других людях, событиях, ситуациях в ментальный мир ребенка. Преобразуясь в практическое знание, оно делает детей и подростков способными совместно учиться и действовать (27, с. 105).

4. *Воспитание и образование как межкультурная задача* распространяются на центральные области социализации: семья, школа, субкультура и массмедиа. В качестве эксперимента в школе были созданы постоянные образовательные группы из детей разного возраста (различия до трех лет), из мальчиков и девочек, из разных этнических групп. Исследования показали, что общие ритуалы могут стать инструментом конструктивной переработки культурных различий.

5. *Разнообразие методов исследования ритуалов*, использованных в «Берлинском исследовании ритуалов и жестов», определялось целями работы. Широко применялись этнографические методы, такие как включенное наблюдение, интервью и групповые дискуссии, важную роль играло видеонаблюдение, характерное для визуальной антропологии. Исследование внесло большой вклад в понимание исторического изменения роли ритуализации и ритуалов современного промышленно-развитого общества.

Примером еще одного масштабного историко-антропологического проекта, осуществленного под руководством К. Вульфа, стало этнографическое изучение инсценирования счастливой семейной жизни в Германии и Японии. С помощью трех германо-японских команд были обследованы три семьи во время празднования центрального семейного ритуала – Рождества в Германии и Нового года в Японии. Обнаружилось многообразие ритуальных способов создания семейного счастья, было установлено также, что в обеих культурах счастье связано с качеством социальных отношений. Наблюдая семейные праздники, исследователи пытались зафиксировать, как члены семьи инсценируют и понимают счастье. Использовались методы нарративных интервью и дискуссий в группах в процессе включенного наблюдения и с применением видеонаблюдения. Общими элементами в семейных ритуалах обеих стран оказались: пища, дарение подарков, вера или религиозное измерение, общие воспоминания, совместное пребывание.

Итоги исследования подводятся в пятнадцати обобщающих тезисах, в которых дано развернутое определение специфики современного историко-антропологического подхода, основанного на трансдисциплинарной и транснациональной организации исследований, в рамках которых применяется множество различных методов. «Сюда относятся методы работы с историческими источниками, литературоведческой герменевтики текста, качественного социального исследования и философской рефлексии. В некоторых исследованиях преодолеваются не только границы между различными специальными науками и научными парадигмами, но и границы, разделяющие искусство, литературу, театр и музыку» (27, с. 155).

Доминанты изменений в российской антропологии проявились не столь широко, прежде всего, в расширении ее тематики: от генетической антропологии до исследований идентичности в личных и коллективных формах в конструктивистской парадигме. Современное более емкое понимание этнологии как антропологии (социально-культурной и физической) очевидно расширяет круг научных интересов. Вместе с тем основные направления исследований по-прежнему определяются предметной сферой науки о народах, опираются на этнографическую полевую работу и архивные изыскания (6, с. 168–169).

Более масштабной и междисциплинарной стала проектная деятельность. В последние годы разработки российских ученых по общеакадемическим программам, объединяющим проекты многих институтов Российской академии наук, вышли на передний план. Первая трехлетняя программа «Этнокультурное взаимодействие в Евразии» была выполнена в 2003–2005 гг. В 2006–2008 гг. велись разработки по программе «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям». Третья программа «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (2009–2011) включила исследования по 14 проектам. В рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (2012–2014) был осуществлен проект ИНИОН РАН «Интернет-проект как механизм формирования и развития научного сообщества» на основе разработок монографии «Информационный фактор в развитии российской этнологии» (17). В Программе фундаментальных исследований Президиума РАН «Историческая память» сотрудниками ИНИОН выполнен проект: «Политика идентичности: Акторы, стратегии, инструменты» (2015–2017).

Важнейшими достижениями изучения отечественной тематики последних десятилетий стали уникальные историко-этнографические энциклопедии – «Народы России» (1994) и «Народы и религии мира» (1998, переизданная в 1999, 2000), а также этнографическая карта «Народы России и сопредельных стран». Этому циклу работ в 2001 г. была присвоена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники. В 2009 г. эту серию дополнила энциклопедическая публикация «Народы России. Атлас культур и религий». С начала 1990-х годов Институт работает над фундаментальной многотомной серией «Народы и культуры», в которой вышли уже около 20 томов.

Несколько проектов осуществляется по истории этнологической науки. Особое внимание уделяется теории и методологии изучения этнических процессов, развития культуры. В этой связи особо отмечена серия «Этнографическая библиотека» (около 20 книг классиков этнографической науки, включая переводы).

Два подразделения института – Центр этнополитических исследований (заведующий академик В.А. Тишков) и Центр по изучению межнациональных отношений (заведующий доктор исторических наук М.Н. Губогло) развернули широкие исследования по мониторингу этнических проблем и этнополитической тематике. В 1993 г. на базе Института создана Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, в которой сотрудничают эксперты из различных регионов России. При изучении современных общественно-политических проблем делается акцент на такие вопросы, как рост этнического самосознания (этническая мобилизация) и формы национализма, причины сепаратизма и конфликтов.

В 2015 г. академику В.А. Тишкову была присуждена Государственная премия РФ в области науки и техники за достижения в области этнологии и социально-культурной антропологии, разработку метода этнологического мониторинга, предупреждения и разрешения этнополитических конфликтов (5, с. 8).

Наличие областей пересечения конкретных дисциплинарных и субдисциплинарных сообществ придает определенную долю условности самим дисциплинарным границам, считает С.В. Соколовский. «Антропология с человеком в качестве центральной категории могла бы претендовать на центральное место среди всех социальных и гуманитарных исследований, но прагматически явно проигрывает экономике, социологии и политическим наукам. Способность оставаться собой, а не мутировать в исследованиях культуры, общества, знака,

текста, традиции или чего-либо еще антропология сохраняет только при условии регулярного возвращения к своей центральной категории – человеку. Начавшаяся далеко не сегодня и все более углубляющаяся специализация и фрагментация антропологического знания с ее новой картой размежеваний и все более узкими концепциями, неизбежным следствием, если не параллельно развивающимся процессом, имеет утрату интереса к “чужому знанию”» (12, с. 532).

Впрочем, аналогичное состояние присуще и зарубежным научным школам. К главным проблемам границ антропологического знания, по мнению Дж. Стокинга, относятся: проблема национальных традиций в очевидно универсальной науке о человечестве; внутренняя связность дисциплины, которая исторически гибридна, амбициозно всеохватывающа и крайне изменчива в своих границах; возможность органичного совмещения в одной дисциплине широты охвата разноплановых явлений и фиксации конкретных деталей. Обращение к этим проблемам, в которых сочетается неизмеримая протяженность и замкнутая цикличность, соответствует, как подчеркивает исследователь, миллениаристскому состоянию общественного сознания 2000-х годов (24, с. 305).

Похоже, что отказ от «марксистского диктата» (впрочем, зачастую также декларативный) в российской науке оказался более простой задачей, чем создание нового продуктивного научного инструментария в процессе освоения и развития новых подходов в современном социогуманитарном знании, как показывают современные исследования в разных областях российской этнологии и антропологии.

Список литературы

1. Антропологические традиции: Стили, стереотипы, парадигмы: Сб. статей / Ред. и сост. А.Л. Елфимов. – М.: Новое литературное обозрение, 2012. – 208 с.
2. Антропология медиа: Теория и практика / Под ред. В.К. Мальковой, В.А. Тишкова. – М.: РАН. ИЭА, 2016. – 302 с.
3. Антропология социальных перемен: Сб. ст. / Отв. ред. Гучинова Э., Комарова Г. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 758 с.
4. *Бутовская М.Л.* Антропология пола. – Фрязино: Век 2, 2013. – 256 с.
5. Валерий Александрович Тишков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 2016. – 221 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых: История, вып. 41).
6. Инновации в антропологии: Новые направления, объекты и методы в российских антропологических исследованиях: Монография / Отв. ред. С.А. Соколовский. – Москва: ИЭА, 2015. – 151 с.

7. *Кастельс М.* Информационная эпоха: Экономика. Культура. Общество / Пер. с англ. под ред. Шкаратана О.И. – М.: Гос. университет Высшая школа экономики, 2000. – 607 с. – Пер. изд.: Information Age: Economy, Society and Culture. – Oxford: Blackwell Publishers, 1996–1998. – Vol. 1–3.
8. *Кром М.М.* Введение в историческую компаративистику: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2015. – 247 с. – (Учебники Европ. ун-та). – Библиогр.: С. 225–242.
9. *Мартынова М.Ю., Академик В.А.* Тишков и российская этнология: Об исследованиях Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. – М.: Наука, 2011. – С. 169–185.
10. *Потапова Н.Д.* Лингвистический поворот в историографии: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 380 с.
11. Российская антропология и «онтологический поворот» / Отв. ред. Соколовский С.В. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 2016. – 304 с. – (Серия: Инновации в антропологии, вып. 2)
12. *Соколовский С.А.* Российская антропология: Субдисциплины и междисциплинарные связи // Традиции и инновации в истории и культуре: Программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук / Отв. ред.: А.П. Деревянко, В.А. Тишков. – М., 2015. – С. 518–536.
13. *Тишков В.А.* Новая историческая культура. – М.: Изд-во МГУ, 2011. – 60 с.
14. *Тишков В.А.* Российский народ: История и смысл национального самосознания. – М.: Наука, 2013. – 649 с.
15. *Тишков В.А.* Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука, 2003. – 543 с.
16. Традиции и инновации в истории и культуре: Программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук «Традиции и инновации в истории и культуре» / Отделение историко-филологических наук РАН; Институт этнологии и антропологии РАН; отв. ред.: А.П. Деревянко, В.А. Тишков. – М., 2015. – 620 с.
17. *Уварова Т.Б.* Информационный фактор в развитии российской этнологии. – М.: РАН. ИНИОН, 2011. – 318 с.
18. *Уварова Т.Б., Викторова Е.Н.* Преемственность и инновации в российской исторической науке: К 75-летию академика В.А. Тишкова // Российская история. – М., 2016. – № 6. – С. 149–161.
19. Феномен идентичности в современном гуманитарном знании: К 70-летию академика В.А. Тишкова / Сост. Губогло М.Н., Дубова Н.А.; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Наука, 2011. – 670 с.
20. Феномен междисциплинарности в отечественной этнологии / Отв. ред. и сост. Комарова Г.А. – М.: РАН. ИЭА, 2016. – 458 с.
21. *Чистов Ю.К.* Этнографический музей: Уважай прошлое, твори будущее // Феномен идентичности в современном гуманитарном знании. – М.: Наука, 2011. – С. 351–366.
22. *Ellen R.* Theories in anthropology and «anthropological theory» // Journal of The Royal Anthropological Institute (N.S.). – 2008. – Vol. 16. – P. 387–404.
23. *Marks J.* Why I am not a scientist: Anthropology and modern knowledge. – Berkeley etc.: California univ. press, 2009. – XIII, 325 p.

24. *Stocking G.W.* Delimiting Anthropology: Historical reflections on the Boundaries of a Boundless Discipline // *Delimiting Anthropology: Occasional Inquiries and Reflections*. – Madison: Wisconsin univ. press, 2001. – P. 303–329.
25. *Stocking G.W.* Delimiting anthropology: Occasional inquiries and reflections. – Madison: Wisconsin Press, 2001. – 342 p.
26. *Stocking G.W.* The shaping of national anthropologies: A view from the center // *Delimiting anthropology: Occasional inquiries and reflections*. – Madison: Wisconsin Press, 2001. – P. 281–302.
27. *Wolf K.* Anthropologie in der globalisierten Welt. Auf dem Weg zu einer neuen Anthropologie. – М.: Идея-Пресс, 2015. – 176 с.

Т.Б. Уварова

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ИННОВАЦИИ В ЭТНОЛОГО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ
ЗНАНИИ НАЧАЛА XXI в.**

Аналитический обзор

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование
и компьютерная верстка К.Л. Синякова
Корректор Л.Н. Казиминова

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 28/IX – 2017 г. Формат 60х84/16
Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 6,0 Уч.-изд. л. 5,5
Тираж 300 экз. Заказ № 96

**Институт научной информации
по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997**

**Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий
Тел./Факс: (499) 120-45-14
E-mail: inion @bk.ru**

**E-mail: ani-2000@list.ru
(по вопросам распространения изданий)**

Отпечатано в ИНИОН РАН
Нахимовский проспект, д. 51/21
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
042(02)9